А. БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ

Советский писатель



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА
ОСНОВАНА
М. ГОРЬКИМ

Большая серия
Второе издание

ЛЕНИНГРАД • 1961

А. БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ

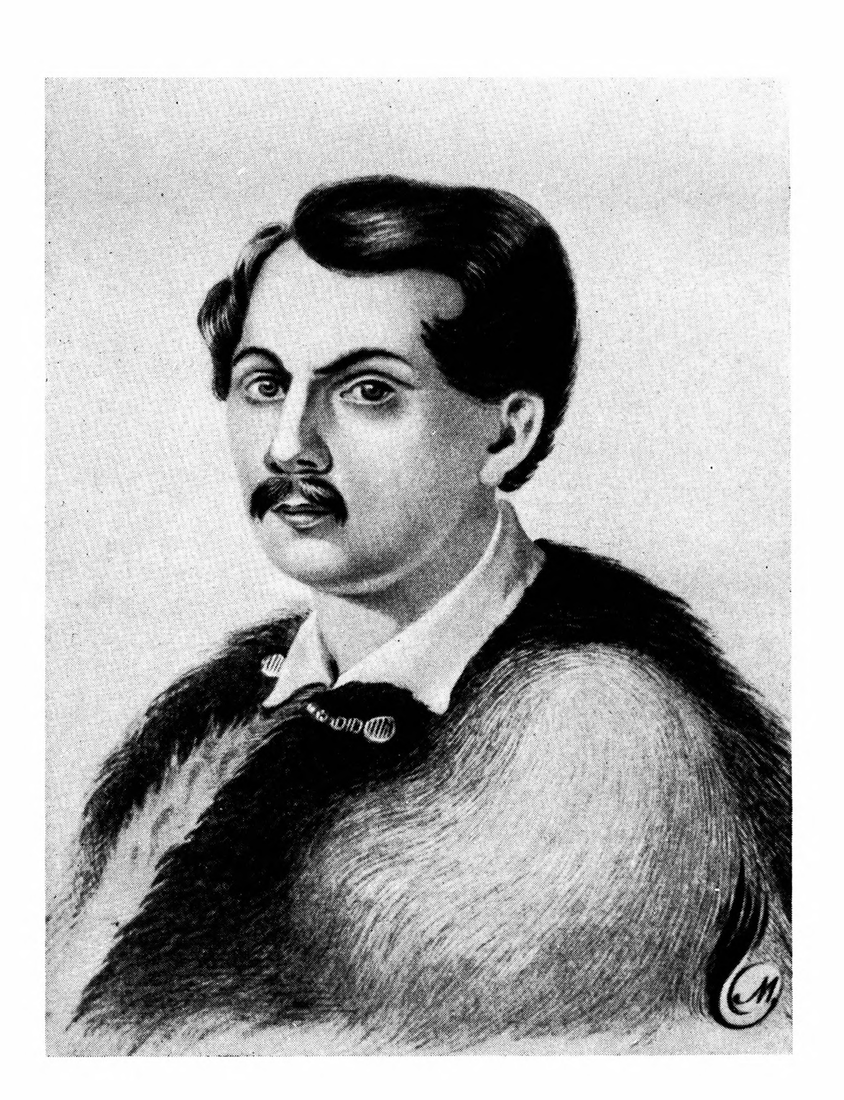
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Вступительная статья и примечания
Н. И. Мордовченко

Общая редакция М. А. Брискмана



А. А. БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ

А. А. Бестужев-Марлинский вошел в историю русской литературы как выдающийся деятель романтического движения и как видный участник событий 14 декабря 1825 года. Соратник Рылеева по революционной работе в Северном тайном обществе декабристов, критик и публицист, переводчик, поэт и прозаик — Бестужев сыграл важную и ответственную роль в литературной борьбе 1820-х годов. После разгрома восстания декабристов заключенный в крепость, а затем отправленный в ссылку, Бестужев продолжал литературную работу и в 30-е годы, создав себе славу романтическими повестями. Славе сопутствовали, однако, тяжелые жизненные испытания. Из ссылки, которую отбывал Бестужев в Якутске, его перевели в солдаты на Кавказ. Исключительная храбрость, проявленная Бестужевым, не спасла его от постоянных преследований начальства и не улучшила его положения. Только смерть положила конец испытаниям бывшего декабриста: 7 июня 1837 года Бестужев был убит при занятии русскими войсками мыса Адлер.

Литературная деятельность Бестужева делится на три неравных периода: первый период охватывает годы 1818—1822, когда Бестужев искал путей в литературе и когда он действовал как поэт, публицист и критик в качестве последователя карамзинской школы; второй период, с 1823 по 1825 год, знаменателен переходом Бестужева на романтические позиции, вступлением в Северное общество декабристов и работой в области критики и прозы; третий и последний период, с 1826 по 1837 год, охватывает время тюрьмы, ссылки и солдатчины, когда Бестужев, после недолгого увлечения поэзией,

становится автором прославленных повестей и одной, но значительной и важной критической статьи.

Рассмотрение поэзии Бестужева целесообразнее и удобнее связать с обзором его творческого пути и характеристикой его литературной позиции.

1

Александр Бестужев родился в 1797 году в Петербурге, в замечательной семье, из которой четверо братьев стали впоследствии декабристами. Глава этой семьи А. Ф. Бестужев был известным писателем радикального направления, примыкавшим к группе последователей материалистической философии, группе, отчасти связанной с Радищевым. Совместно с И. П. Пниным А. Ф. Бестужев издавал в 1798 году «Санкт-Петербургский журнал», в котором ярко выразился русский философский и социально-политический радикализм конца XVIII века.

Александр Бестужев начал литературную деятельность в 1818 году, когда ему было немногим более 20 лет и когда он служил в чине прапорщика в лейб-гвардии Драгунском полку. Полк был расположен под Петергофом в Марли, — отсюда и псевдоним «Марлинский», под которым Бестужев вскоре стал известен — сначала в критике, а потом и в литературе.

Первыми печатными произведениями Бестужева, если не считать нескольких, приписываемых ему, переводных мелочей, были стихотворный перевод «Дух бури (Из Лагарпа)» и перевод одной из глав третьего тома книги баварского посланника при российском дворе Ф.-Г. де Брея «Опыт критической истории Ливонии с изображением нынешнего состояния этой местности» (Дерпт, 1817).[1]

Вопрос о положении крестьянства для Бестужева с юных лет был одним из основных. Поэтому он и взялся за книгу де Брея, в которой значительное место было отведено именно этому вопросу. Бестужев избрал для перевода тот отрывок книги, где автор сравнивал положение русских и лифляндских крестьян и возмущался крепостным правом в России. Де Брей восхищался работоспособностью, талантливостью и высокой нравственностью русских крестьян.

Отрывок, переведенный Бестужевым для «Сына отечества», подвергся, очевидно, цензурным купюрам, поскольку тема крепост-

---

[1] «Сын отечества», 1818, № 31, стр. 228—229, и № 38, стр. 241—254.

ного права была для печати запретной, а окончание перевода не появилось в журнале вовсе, хотя оно и было обещано.[1]

В конце 1818 года Бестужев подал в петербургский цензурный комитет просьбу о разрешении ему со следующего, 1819 года издавать журнал, озаглавленный им «Зимцерла» (как считалось в начале XIX века, это было имя одной из богинь славянской мифологии). Издание журнала не было разрешено, но к Бестужеву вскоре пришла известность — за острые критические статьи и рецензии, которые он начал систематически печатать в петербургских периодических изданиях. Одновременно с развитием литературно-критической деятельности росли также и вольнолюбивые настроения Бестужева. Мы знаем, например, что после восстания лейб-гвардии Семеновского полка осенью 1820 года Бестужев навещал семеновцев в Кронштадте, где они пробыли несколько дней перед отправкой в Свеаборгскую крепость. Такое внимание к опальным товарищам-офицерам свидетельствовало о несомненном сочувствии к ним Бестужева и грозило ему неприятными последствиями. Из друзей Бестужева, в общении с которыми укреплялось его вольнолюбие, в первую очередь нужно назвать поэта А. Н. Креницына, воспитанника Пажеского корпуса, организатора кружка юных вольнодумцев, к которому был, между прочим, близок и Е. А. Баратынский. Можно предполагать, что через Креницына и Баратынского Бестужев сблизился и с другими поэтами, в частности с А. А. Дельвигом. О знакомстве Бестужева с Пушкиным у нас нет определенных данных; скорее всего, что завязавшаяся между ними переписка (с 1822 года) была основана на заочном знакомстве.

У Бестужева образовались связи и в театральных кругах, поскольку две его первые нашумевшие критические статьи 1819 года были посвящены драматическим произведениям. Одна статья Бестужева была посвящена разбору катенинского перевода трагедии Расина «Эсфирь», другая — разбору «Липецких вод» Шаховского.

Сопоставив перевод П. А. Катенина с подлинником трагедии, Бестужев отметил «весьма немногие удачно переведенные» стихи, а все остальное квалифицировал как «почти беспрерывное сцепление непростительных ошибок против вкуса, смысла, а чаще всего против языка, не говоря уже о требованиях поэзии и гармонии».[2] Бестужев восставал против лексики перевода — против «самой не-

---

[1] См. А. А. Богданова. А. А. Бестужев как переводчик, рецензент и критик. «Ученые записки Новосибирского гос. педагогического института», 1945, вып. 1, стр. 108—109.

[2] «Сын отечества», 1819, № 3, стр. 109—110.

употребительной, заржавевшей славянщизны», перемешанной «весьма неосторожно с простейшими русскими словами».[1]

Дело было, конечно, не в языковых ошибках Катенина и не в нелепостях его перевода, а в определенной стилистической системе, враждебной Бестужеву, которую он стремился комически представить как нелепую. В разборе «Эсфири» Бестужев выступил сторонником карамзинской школы «очистителей языка», боровшихся с церковно-славянизмами и отрицавшими их поэтическое значение.

Начиная с 1819 года Бестужев открывает систематическую борьбу с Катениным; очевидно, именно разногласиями по литературным вопросам объясняется в какой-то мере предубеждение Бестужева против Грибоедова, как единомышленника Катенина, их взаимная холодность до 1824 года. По своему литературному направлению Бестужев с первых же шагов своей деятельности пошел за поэтами арзамасского круга. Это явствует совершенно определенно из статьи Бестужева, посвященной разбору «Липецких вод».

Комедия А. А. Шаховского «Липецкие воды, или Урок кокеткам», поставленная на сцене еще в 1815 году, явилась, как известно, одним из наиболее ярких эпизодов борьбы между «Беседой любителей русского слова» и карамзинистами. За памфлет на Жуковского, выведенного Шаховским в образе «балладника Фиалкина», комедия вызвала ряд издевательских откликов со стороны карамзинистов, основавших тогда общество «Арзамас». Первая же развернутая критика комедии появилась лишь в 1819 году, и принадлежала она Бестужеву.[2] Это было продолжение арзамасской борьбы с направлением «Беседы любителей русского слова» и Шаховским как представителем этого направления.

Вместе с карамзинистами высмеивая «Беседу любителей русского слова», высоко ценя Жуковского и подчиняясь карамзинистским стилевым принципам, Бестужев, однако, сохранял самостоятельность и своеобразие своего лица. Бестужеву были присущи гражданские темы, темы обличения социального неустройства, он не сочувствовал общественному безразличию карамзинистов и их «легкой» сатире нравов. Если в отрывке из комедии «Оптимист» Бестужев касается вопросов общественного зла в отвлеченном плане, утверждая, что «есть зло, но есть и благо под луной», то в «Подражании первой сатире Буало» (не печатавшемся при жизни Бестужева) он клеймит разложение общества и нападает на власть.

---

[1] «Сын отечества», 1819, № 3, стр. 119.
[2] «Сын отечества», 1819, № 6, стр. 252—273.

«Я вольности обрел златую нить», — говорит поэт, противопоставляя свое гордое одиночество продажности и лицемерию петропольского мира «судей, писцов и сыщиков». Тема этого стихотворения — роль поэта, его отношения с толпой — и впоследствии привлекала внимание Бестужева (ср. «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов»).

За годы 1819—1822 Бестужев напечатал в журналах свыше тридцати критических разборов и рецензий, фельетонов, переводных отрывков и пр.

Обличение пороков всякого рода, высмеивание невежества, пустословия и глупости составляло главный предмет фельетонов Бестужева. В своих критических статьях и рецензиях Бестужев разбирал не только произведения художественной литературы, но и книги и брошюры по различным отраслям знания.

При всей тематической пестроте фельетонов, критических и полемических заметок Бестужева, во многих из них отчетливо видны умонастроения и симпатии будущего декабриста. Так, например, в своих замечаниях по поводу обширной статьи Н. И. Гнедича о выставке в Академии художеств 1820 года Бестужев вспоминает, что Людовик XIV «велел вынести из своей картинной галереи все Теньеровы пейзажи, где представлены были сельские праздники», и восклицает по этому поводу: «Не верю величию души твоей, гордый Людовик XIV, когда ты мог презирать полезнейший класс народа!» [1] В своих возражениях на разбор «Опытов» В. Перевощикова он с восторгом говорит о «благороднейшем» человеке Таците и о его «Жизни Агриколы», которую, по мнению Бестужева, «с благоговением должны читать все имеющие сердце». [2] Нельзя не вспомнить здесь, как почитали Тацита декабристы. В переведенном Бестужевым отрывке «О потерянном рае (Из Блера)» [3] дается необычайно высокая оценка Мильтона, который ставится чуть ли не выше Гомера. Бестужев искал в литературе образцов высокой нравственности, возвышенных мыслей и героических дел. С этой точки зрения весьма примечательна рецензия Бестужева на перевод повестей Коцебу «Подарок сыновьям моим на Новый год». [4]

Ко времени появления в печати этой рецензии популярный немецкий писатель и реакционный деятель Коцебу был убит Карлом

---

[1] «Сын отечества», 1820, № 44, стр. 162—163.

[2] «Сын отечества», 1822, № 36, стр. 116.

[3] «Соревнователь просвещения и благотворения», 1820, № 12, стр. 285—293.

[4] «Сын отечества», 1820, № 47, стр. 21—28.

Зандом. Тем бо́льшую остроту приобретали суждения Бестужева, обличавшего Коцебу как детского писателя и высмеивавшего его взгляды на нравственное воспитание.

На первом этапе своей деятельности Бестужев разделял принцип нравственной пользы поэзии, обоснованный Сульцером,[1] он сочувствовал также теории французов и особенно Лагарпа. На последнего Бестужев прямо ссылался при разборе, например, перевода комедии Пирона «Метромания»; теория Лагарпа служила для него руководящей и при оценке «Липецких вод». Романтизм принес с собой новые эстетические понятия, и теория французов должна была быть коренным образом пересмотрена. Точно так же и принцип нравственной пользы поэзии, защищавшийся Бестужевым в 1820 году, через три-четыре года если не отменяется им, то перерабатывается и приводится в соответствие с романтическим требованием возвышенных чувств и мыслей.

К романтизму Бестужев шел как воспитанник карамзинской школы. Поэтому Бестужеву враждебно было то течение в романтизме, которое повело борьбу за «простонародность» и «славянщину» и которое было представлено Катениным.

В 1820 году Бестужев резко и насмешливо отозвался о стихотворении Катенина «Песнь о Мстиславе Мстиславиче», разобрав это стихотворение в специальном «Письме к издателю» «Сына отечества» (1820, № 12).

Вскоре же, под псевдонимом Марлинского, Бестужев напечатал «Письмо к издателю» в журнале «Благонамеренный» (1820, № 6), где сообщал о своем замысле собрать «литературную кунсткамеру» и намерении поместить в нее между прочим перевод Катенина «Сон Гофолии». Однако самая идея кунсткамеры имела для Бестужева неожиданные последствия.

В самом начале 1821 года в «Невском зрителе» с «Письмом к г. Марлинскому» обратился «Житель Галерной Гавани» (псевдоним О. М. Сомова), предлагая поместить в его кунсткамеру между литературными уродцами «немецко-русскую балладу» «Рыбак»[2]. Вокруг этого письма Жителя Галерной Гавани, который ядовито критиковал стихотворение Жуковского, развернулась целая полемика. На защиту Жуковского и с ответом Жителю Галерной Гавани выступил сначала Булгарин,[3] затем Н. Таранов-Белозеров

---

[1] См. рассуждение Бестужева «О вкусе». «Благонамеренный», 1820, № 11, стр. 315—325.

[2] «Невский зритель», 1821, № 1, стр. 56—65.

[3] «Сын отечества», 1821, № 9. стр. 61—73.

(А. Ф. Воейков);[1] на защиту Жуковского с особым стихотворением выступил молодой поэт Я. И. Ростовцев.[2] Бестужев, конечно, совершенно не рассчитывал, что в числе литературных уродцев могут оказаться стихотворения Жуковского. Изобретатель кунсткамеры не мог сочувствовать той расправе, которая была учинена в «Невском зрителе» над балладой Жуковского. Он вынужден был объясниться и снова под псевдонимом Марлинского напечатал письмо к издателю «Сына отечества», в котором прямо заявил, что ничего общего не имеет с хулителем Жуковского. «Он <Житель Галерной Гавани> весьма ошибся в расчете, — писал Марлинский. — Балладу поместил я в число образцовых переводов, а критику на нее между уродцами».[3]

Подобным заявлением Бестужев совершенно определенно выразил свою солидарность с направлением творчества Жуковского, которое развивалось под знаком романтического направления.

2

С начала 1820 года Бестужев состоял действительным членом Общества любителей словесности, наук и художеств, руководимого А. Е. Измайловым, а в конце того же года (15 ноября) вступил в члены Вольного общества любителей российской словесности, возглавлявшегося Ф. Н. Глинкой. Участие в этих двух обществах характеризует литературную позицию Бестужева и разъясняет, каким образом он вошел в ряды сторонников романтизма.

Ко времени вступления Бестужева в Общество любителей словесности, наук и художеств оно давно уже перестало быть проводником политического радикализма, каким было прежде, а ведущую роль играла в нем теперь умеренная группа во главе с А. Е. Измайловым, подменявшим серьезные общественные вопросы вопросами благотворительности и «легкой» сатирой нравов. Для Общества, целиком захваченного в это время влиянием карамзинистов, характерен был политический индифферентизм, что и отражал его печатный орган — журнал, издававшийся под характерным названием — «Благонамеренный».

В течение 1820 года Бестужев сотрудничал в «Благонамерен-

---

[1] «Сын отечества», 1821, № 11, стр. 195—196. Ср. «Невский зритель», 1821, № 3, стр. 310—316.

[2] «Сын отечества», 1821, № 12, стр. 232—233 («К зоилам поэта»).

[3] «Сын отечества», 1821, № 13, стр. 263—265.

ном», причем некоторые из произведений, которые он печатал в журнале, предварительно читались на собраниях Общества. Так, на одном из собраний читалось «Подражание первой сатире Буало» (в середине 1820 года), которое, хотя и было одобрено Обществом, в частности А. Х. Востоковым, разбиравшим стихотворение, — в «Благонамеренном» все же не появилось, вероятно, в силу цензурного запрещения. На собрании Общества читалось стихотворение «К некоторым поэтам» (8 апреля 1820 года), где Бестужев ставил поэтам в вину ложный вкус, невежество, подражательность и непризнание настоящих русских писателей, начиная от Державина и кончая Жуковским. Рассуждение «О вкусе (Из Кюльса)» тоже было прочитано на собрании Общества (27 мая 1820 года). Но борьба за «вкус», которую повел Бестужев в Обществе и на страницах «Благонамеренного», очевидно, не во всем совпадала с тенденциями руководителей Общества. Дело в том, что выступления Н. А. Цертелева с издевательским разбором стихотворений Жуковского, а еще ранее стихотворений Дельвига явились предвестием все возрастающей вражды «Благонамеренного» к романтизму. И действительно, вскоре же позиции журнала все ярче определяются как позиции антиромантические, а с 1822 года журнал начинает систематическое преследование поэтов «новой школы» — Дельвига, Баратынского и других. Бестужев, формально не разрывая с Обществом, с 1821 года прекращает сотрудничество в «Благонамеренном». Наоборот, в Вольном обществе любителей российской словесности, руководимом Ф. Н. Глинкой и издававшем «Соревнователь просвещения и благотворения», деятельность Бестужева явно усиливается. Именно в этом Обществе, ставшем объединением будущих декабристов и одним из центров романтического направления, Бестужев находит близкую себе среду. Здесь расширяется круг его знакомств и литературных связей. Вместе с тем упрочивается и литературная репутация Бестужева.

В 1821 году была напечатана сначала в «Соревнователе» и «Невском зрителе», а затем явилась отдельным изданием первая крупная вещь Бестужева — «Поездка в Ревель». В основу книги был положен материал реальных впечатлений и наблюдений автора, совершившего поездку в Прибалтику. В литературном отношении книга подготовлялась критическими и полемическими статьями Бестужева, его фельетонами и стихами. «Поездка в Ревель» была обработана в стернианской манере, с обилием каламбуров, сравнений и тем острословием, которое составляло отличительную особенность критики и полемики Бестужева. Продолжив традицию жанра путешествий дюпати-карамзинского типа, Бестужев обновил этот

жанр вводом стихов, включенных в прозаический текст без всякой особой мотивировки. Уже самое первое письмо «Поездки в Ревель» открывалось стиховым эпиграфом автора:

Желали вы, — я обещал,
Мои взыскательные други,
Чтоб я рассказам посвящал
Минутных отдыхов досуги
И приключения пути
Вам описал, как Дюпати.

В «Поездке в Ревель» стихи появляются не только на ударных местах (таково, например, описание Нарвского водопада, сделанное под несомненным влиянием державинского «Водопада»), но зачастую прозаический текст совершенно свободно, как в дружеском письме, переходит в стихи, а затем опять следует прозаический текст. Исследователями уже отмечено, что «в русской литературе такая свободная перебойная манера связана с эпистолярным стилем и в путешествии дюпати-карамзинского типа использована впервые».[1] Эпистолярная обработка «Поездки в Ревель» давала возможность не только ввода стихов, обращений к друзьям, но также многообразных рассуждений на исторические, этнографические и литературные темы. Известно, что один из эпизодов, отмеченный в «Поездке в Ревель», явился сюжетным зерном позднейшей повести Бестужева «Ревельский турнир». Рассуждение о критике, которое мы находим в «Поездке в Ревель», было своеобразным итогом критической деятельности Бестужева и его программой на будущее.

В ходе борьбы за романтизм серьезное принципиальное значение имела полемика 1822 года о книге Н. И. Греча «Опыт краткой истории русской литературы». Книга Греча поднимала множество вопросов, но основной предпосылкой полемики и ее центром явилось установленное Гречем разграничение двух направлений русской литературы — ломоносовского и карамзинского. В полемике приняли участие Катенин, сам Греч, Бестужев, Жандр и другие. Бестужев прежде всего высказался по поводу самой книги Греча,[2] а затем

---

[1] Т. А. Роболи. Литература «путешествий». Сб. «Русская проза», под ред. Б. М. Эйхенбаума и Ю. Н. Тынянова. Л., 1926, стр. 65.

[2] Почему? (Замечания на книгу «Опыт краткой истории русской литературы»). «Сын отечества», 1822, № 18, стр. 158—168.

вступил в спор с давним своим противником Катениным по поводу его статьи об «Опыте краткой истории русской литературы». [1]

Все теоретические суждения Катенина, начиная от его соображений в защиту высокого стиля и кончая трактовкой романтизма и горделивой авторской самооценкой, подверглись сокрушительной критике Бестужева. Требование высокого стиля с опорой на церковно-славянский язык Бестужев отрицал, признавая только возможность и целесообразность использования церковно-славянизмов в легком слоге. Совершенно неприемлемым для Бестужева было и катенинское понимание романтизма. Хотя Бестужев, подобно Катенину, и не дал собственного определения романтизма, но из его замечаний видно, что романтизм заключался для него не в новизне художественной формы, как это было для Катенина, а прежде всего в темах и содержании творчества. Руководствуясь этим положением, в заключении своей статьи, посвященной Катенину, Бестужев уничтожающе отзывался о его стихах.

От всяких возражений Бестужеву Катенин уклонился, и, таким образом, полемика была закончена без какого-либо положительного итога. Через несколько месяцев Катенин был выслан из Петербурга и отошел от литературной жизни. Вследствие этого то течение в романтизме, которое он представлял, оказалось лишенным руководства до 1824 года, когда были напечатаны статьи В. К. Кюхельбекера в «Мнемозине». Что касается Бестужева, то после полемики 1822 года его литературная репутация еще более укрепилась.

В мае 1822 года Бестужев знакомится с Рылеевым. Вскоре он и Рылеев начинают готовиться к изданию «Полярной звезды» и сразу обращаются к Пушкину с просьбой о сотрудничестве. В первом письме к Бестужеву, отправленном из Кишинева 21 июня 1822 года, Пушкин назвал Бестужева «представителем вкуса и верным стражем и покровителем нашей словесности». [2] В том же 1822 году Вольное общество любителей российской словесности избирает Бестужева цензором библиографии на 1823 год, и тогда же «Северный архив» в своем объявлении упоминает о Бестужеве как о литераторе, «известном остроумными своими критиками и другими прекрасными статьями». [3]

[1] Замечания на критику, помещенную в № 13 «Сына отечества», касательно «Опыта краткой истории русской литературы». «Сын отечества», 1822, № 20, стр. 253—269.

[2] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 10. М.—Л., 1949, стр. 36. Далее ссылки на сочинения Пушкина даются по этому изданию (тт. 1—10. М.—Л., 1949).

[3] «Северный архив», 1822, № 19, стр. 82.

3

В «Полярной звезде на 1823 год» Бестужев поместил две повести — «Роман и Ольга» и «Вечер на бивуаке», а также критический обзор, которым открывался альманах, — «Взгляд на старую и новую словесность в России». Альманах вышел в свет почти одновременно с появлением боевой статьи П. А. Вяземского о «Кавказском пленнике», где было заявлено об успехах в России романтической поэзии.[1] Вяземский в это время уже пропагандировал Байрона и вкладывал в понятие романтизма гражданское и революционное содержание. Статья о «Кавказском пленнике» была написана Вяземским с определенной политической тенденцией. Обзор Бестужева носил иной характер: имя Байрона не упоминалось здесь вовсе, так же как не было никаких упоминаний и о романтизме. Тем не менее по духу и направлению обзор принадлежал к «новой школе». Главную часть обзора занимали характеристики писателей «последнего пятнадцатилетия», причем и сам Бестужев говорил о «новой школе», относя к этой школе Жуковского, Батюшкова и Пушкина. Выразительно и живо рисовал Бестужев в своем обзоре положение современной драматургии и прозы. Область русского театра Бестужев сравнивал с «бесплодным полем», а область прозы — со степью. Безлюдье в этой последней области он объяснял «младенчеством просвещения». «Гремушка занимает детей прежде циркуля, — писал Бестужев, — стихи, как лесть слуху, сносны даже самые посредственные; но слог прозы требует не только знания грамматики языка, но и грамматики разума, разнообразия в падении, в округлении периодов, и не терпит повторений».[2] В числе важных причин, обусловивших печальное состояние прозы, Бестужев указывал на «односторонность, происшедшую от употребления одного французского и переводов с сего языка. Обладая неразработанными сокровищами слова, мы, подобно первобытным американцам, меняем золото оного на блестящие заморские безделки» (Соч., т. 2, стр. 536). Бестужев начал свой обзор с призыва изучать древности «нашего слова, дабы в них найти черты русского народа и тем дать настоящую физиогномию языку» (Соч.,

---

[1] «Сын отечества», 1822, № 49, стр. 115—126.

[2] А. А. Бестужев-Марлинский. Сочинения в двух томах, т. 2. М., 1958, стр. 536. Ниже цитаты из критических статей и писем Бестужева, за исключением случаев, особо оговоренных, приводятся по этому изданию; ссылки на него даются в тексте сокращенно: «Соч., т. 2».

т. 2, стр. 523). Кончался обзор аналогичной пропагандой родной речи.

Неудовлетворительное состояние литературы Бестужев объяснял недостатком образования. Учебные заведения «составляют самую малую часть в отношении к многолюдству России», — заявлял он (Соч., т. 2, стр. 538). «Феодальная умонаклонность многих дворян» также мешает распространению просвещения. Дворянской молодежи, не желающей учиться, Бестужев противопоставлял офицерство, имея в виду, конечно, тот общественный круг, с которым он был сам связан. «Должно сказать, что молодые офицеры, наиболее, в сравнении с другими, основательно учатся. Впрочем, — добавлял Бестужев, — у нас нет европейского класса ученых, ибо одно счастие дает законы обществу, а наши богачи не слишком учены, а ученые вовсе не богаты» (Соч., т. 2, стр. 539). Равнодушие общества к науке и литературе точно так же являлось немаловажной причиной бедности литературы. Однако «главнейшая причина есть изгнание родного языка из общества и равнодушие прекрасного пола ко всему, на оном писанному» (Соч., т. 2, стр. 539).

В разборе обстоятельств, объясняющих неудовлетворительное состояние литературы, Бестужев еще не встал на путь общественно-исторического и политического анализа, который будет им найден позже. Когда он говорил о «равнодушии прекрасного пола» ко всему написанному на русском языке, когда заявлял, что «одна улыбка женщины милой и просвещенной награждает все труды и жертвы» (Соч., т. 2, стр. 539), — он оставался связанным со школой Карамзина и прямо повторял мысли карамзинской статьи «Отчего в России мало авторских талантов?» Вместе с тем обзор Бестужева выразил настроения и будущего декабриста. Они сказались в остроте и резкости некоторых суждений (например, о Кантемире, Фонвизине и Крылове), в призывах к народности, истолкованной уже не в плане карамзинского космополитизма. Заключение обзора, где было упомянуто о «тумане, лежащем теперь на поле русской словесности», содержало в себе прозрачный намек на тяжесть тогдашних политических условий, которые определяли развитие литературы. «Ты умел в 1822 году жаловаться на туманы нашей словесности», — писал Бестужеву Пушкин три года спустя (письмо от конца мая — начала июня 1825 года).[1]

Из ряда журнальных откликов на бестужевский обзор наиболее интересной была критика обзора, появившаяся в «Русском инвалиде», на которую отвечал сам Бестужев. Статья Бестужева под

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 10, стр. 147.


Полярная Звѣзда.
1823
Изд. А. Бестужевымъ и К. Рылѣевымъ.
въ С. Петербургѣ

заглавием «Ответ на критику „Полярной звезды"», помещенную в 4, 5, 6 и 7 нумерах «Русского инвалида» 1823 года», представляет собой важное дополнение к его обзору.

В этой статье Бестужев разъяснил, что понимает он под «романтическим родом» в поэзии и как относится к «думам» Рылеева, от оценки которых в обзоре он уклонился. Продолжая развивать свою мысль, высказанную еще в полемике с Катениным о том, что сущность романтизма заключается не в формах, а в содержании творчества, Бестужев не отождествлял «новой школы» в поэзии с романтическим направлением. По мнению Бестужева, «Жуковский принадлежит к школе романтической, но более как переводчик, нежели как автор; что же до Батюшкова, то в романтическом роде у него написаны только три пьесы: «Переход через Рейн», «Пленный» и «Замок в Швеции»...[1] Критик «Русского инвалида» высказывал сомнение в новаторстве Рылеева и считал, что жанр «думы» заимствован из польской литературы. Бестужев опровергал эту мысль, настаивая на том, что «„думы" суть общее достояние племен славянских», что они выросли на почве устного народного творчества и что самый жанр «думы» «поместить должно в разряд чистой романтической поэзии».[2] Определяющим признаком «думы», по Бестужеву, являлась национально-историческая тема в субъективно-лирической трактовке, что он особенно подчеркивал: «Дума не всегда есть размышление исторического лица, но более *воспоминание автора* о каком-либо историческом происшествии или лице, и нередко *олицетворенный* об оных *рассказ*».[3] Во всех этих утверждениях Бестужева существенно, во-первых, указание на внутреннее родство так называемых «исторических элегий» Батюшкова и дум Рылеева, во-вторых — отнесение тех и других к романтической поэзии.

Романтизм для Бестужева раскрывался, следовательно, исключительно в содержании творчества — в постановке национально-исторических гражданских тем и в субъективно-лирической их разработке. Таковы были теоретические представления Бестужева о романтизме, которым отвечали, между прочим, и его собственные творческие поиски.

Рылеев начал работу над «думами» летом 1821 года, а Бестужев в то же самое время, еще не будучи знаком с Рылеевым, был уже одушевлен мыслью о поэтическом воссоздании образов прошлого. В «Листке из дневника гвардейского офицера» (1821) Бестужев сделал характерное признание, что его гений

---

[1] «Сын отечества», 1823, № 4, стр. 179.
[2] Там же, стр. 183—184.
[3] Там же.

...любит с пламенной мечтой
В тумане древности носиться,
И вот она, покинув тлен,
Былою жизнью оживится,
И вспять течет река времен;
И снова край отчизны зрится,
Богатырями населен.

В том же «Листке из дневника гвардейского офицера» на основе летописного рассказа Бестужев дал краткий очерк Ледового побоища и воссоздал в стихах героический образ Александра Невского, который «оплотом сил напор врага остановил». Бестужев углубляется в русскую историю, изучает исторические и фольклорные источники и создает свою первую «старинную повесть» «Роман и Ольга». И позже, так же как Рылеев в «думах», Бестужев обращался за темами для своих повестей к русской старине. Это было последовательным осуществлением романтических идей, которые Бестужев развивал. По духу и направлению своего творчества он исключительно близко сошелся с Рылеевым, в общении с которым углубил и свои политические взгляды. В теоретическом отношении единомышленником Бестужева был в это время Вяземский, явившийся в России первым пропагандистом романтизма в том именно истолковании, какое принял Бестужев. Для всех трех — Бестужева, Рылеева и Вяземского — романтизм оказался знаменем свободолюбия и общественного протеста.

Рост политических интересов и свободолюбивых настроений Бестужева явственно виден из его второго критического обзора, открывшего «Полярную звезду на 1824 год», — «Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года».

Обсуждение первого бестужевского обзора в критике показало, что наиболее острым и злободневным вопросом из всех вопросов, поставленных Бестужевым, был вопрос о «причинах, замедливших ход словесности». Споры по этому вопросу продолжали идти еще в 1823 году, и Бестужев в новом критическом обзоре живо откликнулся на них, уточнив и развив свою точку зрения. Карамзинская мысль о пристрастии общества ко всему французскому и о равнодушии «прекрасного пола» к родному языку звучала анахронизмом и теперь явно не годилась для объяснения состояния литературы. Бестужев направляет свое внимание на общественно-исторические и политические условия, определяющие литературное развитие и влияющие на него.

В той форме, которая была возможна для подцензурной печати,

Бестужев высказывал недовольство «сущностью», т. е. тогдашней действительностью, и призывал к объединению дела литературы с задачами освободительной борьбы. Поднимая голос за общественное значение литературы, Бестужев вспоминал эпоху Отечественной войны, которую противопоставлял современности. «Тогда слова: *Отечество и слава* электризовали каждого. Каждый листок, где было что-нибудь отечественное, перелетал из рук в руки с восхищением. Похвальные песни, плохи или хороши они были, раздавались по улицам, и им рукоплескали в гостиных; одним словом, все тогда казалось прекрасным, потому что все было истинным» (Соч., т. 2, стр. 540). Совсем иное положение наступило в послевоенное время. Общество погрузилось в «бездейственный покой», и «вкус ко всему отечественному» был брошен, как мода. «Страсть к галлицизмам» обусловила «охлаждение лучшей части общества к родному языку и поэтам, начинавшим возникать в это время». Наконец, в 1823 году, наступило «совершенное оцепенение словесности». Нарисовав столь безрадостную картину, Бестужев добавлял при этом: «Так гаснет лампада без течения воздуха, так заглушается дарованье без ободрений!» (Соч., т. 2, стр. 541).

Важнейшей причиной, замедлившей ход словесности, по мнению Бестужева, являлось отсутствие «течения воздуха», отсутствие «ободрений». В данном случае речь шла, конечно, не о монаршем покровительстве или покровительстве меценатов, а об «ободрениях» в смысле благоприятной общественной обстановки для творчества писателей.

«Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года» появился в свет в конце декабря. Незадолго до этого, во второй половине 1823 года, Рылеев принял Бестужева в Северное тайное общество. Бестужев в эту пору — блестящий адъютант герцога Вюртембергского, бывающий в большом петербургском свете. В то же время он начинает вести подпольную революционную работу. Совместно с Рылеевым, а частично и самостоятельно, Бестужев создает агитационные песни «Ах, тошно мне...», «Ты скажи, говори...», цикл «подблюдных» и другие. Эти песни явились одним из самых первых опытов революционной литературы с агитационно-пропагандистским назначением. «Рабство народа, тяжесть притеснения, несчастная солдатская жизнь изображались в них простыми словами, но верными красками», — вспоминал об агитационных песнях Николай Бестужев.[1] В основу своих песен Рылеев и Бесту-

---

[1] Воспоминания Бестужевых. М. — Л., 1951, стр. 27.

жев положили готовые формы крестьянского, солдатского и городского фольклора, заполнив их политически-злободневной тематикой. Одна из лучших песен, «Ах, тошно мне. . .», была написана на голос популярного романса Ю. А. Нелединского-Мелецкого, романса, вошедшего в народ. Простыми словами говорилось в этой песне о торговле крепостными людьми, «как скотами», о непосильных налогах, о продажности суда и духовенства и пр.

4

Северное тайное общество, куда вступил Бестужев осенью 1823 — весной 1824 года, входило в новую фазу своего развития. В это время началось идейное расслоение общества, постепенный отход правых элементов от руководства революционной работой и оформление левого крыла, руководителем которого стал Рылеев. Под влиянием П. И. Пестеля, посетившего в это время Петербург, Рылеев переходит с конституционно-монархических позиций к республиканским и демократическим взглядам, к «якобинской» программе «южан». Сторонником этих же взглядов и той же программы становится и Бестужев.

Подпольная революционная работа у Бестужева, как и у Рылеева, сочеталась с литературной деятельностью, которая не только не ослабевала, но ширилась.

1824 год был значительным и важным годом в литературном развитии. После «совершенного оцепенения», какое испытала литература в 1823 году, начался постепенный подъем, непрерывно нараставший и в 1825 году. Одним из проявлений начавшегося подъема явились критические споры этой поры, в частности полемика о романтизме, разгоревшаяся сначала по поводу предисловия Вяземского к «Бахчисарайскому фонтану» и по поводу самой поэмы, а затем по поводу боевой статьи Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» («Мнемозина», 1824, ч. 2). Ни в одной из этих полемик Бестужев не принял участия, но его теоретические представления о романтизме не могли оставаться неизменными — они углублялись и уточнялись. К 1825 году, после выступления Кюхельбекера в «Мнемозине», ослабевает былая враждебность между романтиками карамзинской школы с одной стороны и единомышленниками Катенина — с другой. Хотя Кюхельбекер и был глашатаем того течения в романтизме, которое до него представлял Катенин и которое было неприемлемо для Бестужева, тем не менее в статье

Кюхельбекера многое оказалось ему близко. Бестужев не мог не сочувствовать той борьбе с подражательностью всякого рода, с которой выступил Кюхельбекер; не мог не сочувствовать Бестужев и его проповеди свободной национально-самобытной поэзии. Гражданский пафос статьи Кюхельбекера и обоснование им задач поэта как пророка и воинствующего борца — все это отвечало чаяниям Бестужева. Знаменательно, что Бестужев не только знакомится с учителем и вдохновителем Кюхельбекера Грибоедовым (23 июня 1824 года), но вскоре и сближается с ним на почве общественных и литературных интересов. «С Грибоедовым, как с человеком свободомыслящим, я нередко мечтал о желании преобразования России», — показывал Бестужев следственной комиссии по делу декабристов.[1] Несколько позже Бестужев устанавливает дружеское общение и с Кюхельбекером, который впоследствии был принят Рылеевым в Северное тайное общество.

Единство политических устремлений Бестужева, Грибоедова и Кюхельбекера, несомненно, способствовало их сближению и в вопросах литературы. Былые расхождения потеряли свою остроту, хотя они все же и оставались. Так, никогда, конечно, Бестужев не мог сойтись с Грибоедовым и Кюхельбекером в их увлечении «славянщиной», особую позицию занял Бестужев и по отношению к тогдашнему «властителю дум» Байрону.

Своим критическим отношением к Байрону Грибоедов и Кюхельбекер уже завершали целую полосу русского байронизма, тогда как у Бестужева, равно как у Рылеева, увлечение Байроном только начиналось. Вот почему при первой же встрече с Грибоедовым Бестужев был поражен его замечанием, что в нынешний век произведения Байрона ценятся «свыше достоинства».[2]

В 1823—1824 годах Бестужев приступил к занятиям английским языком и очень скоро добился того, что стал читать в подлиннике Байрона, Вальтер-Скотта, Шекспира. Изучение языка и чтение английской литературы тотчас же получило отражение в литературной деятельности Бестужева. В «Соревнователе просвещения и благотворения» за 1824 год он печатает переводы из английских журналов; помимо чисто литературного материала, Бестужева особенно привлекал общественно-исторический, и он выбирал для перевода отрывки, близкие по содержанию его политическим взглядам и настроениям.

---

[1] См.: П. Е. Щеголев. Декабристы. М.—Л., 1926, стр. 90.
[2] Воспоминания Бестужевых. М.—Л., 1951, стр. 524.

В тесной связи с занятиями Бестужева английским языком и литературой находится и его рецензия на вторую часть книги «Русская антология, или Образчики русских поэтов» Джона Боуринга.[1] Существенно отметить возражения Бестужева на тенденциозное предисловие Боуринга, пытавшегося доказать подражательный характер русской литературы. После выступления Кюхельбекера в «Мнемозине» борьба за самобытность русской литературы стала боевой темой критики. Кюхельбекер особенно восстал против Жуковского, как зачинателя подражательной поэзии «туманов» и «призраков», тоски и уныния.

Мнения Бестужева в его ответе Боурингу во многом перекликались с мыслями Кюхельбекера. Так, вслед за Кюхельбекером, Бестужев отрицательно отозвался об «аллегорической и, так сказать, неразгаданной поэзии», которую ввел Жуковский. Из поклонника Жуковского, каким был Бестужев еще так недавно, он стал суровым критиком. Отрицательный взгляд на поэзию Жуковского Бестужев еще более резко, чем в печати, сформулировал в не дошедшем до нас письме к Пушкину, вызвавшем возражения последнего в письме к Рылееву от 25 января 1825 года («Что ни говори, Жуковский имел решительное влияние на дух нашей словесности...»).[2]

Однако Бестужев был энергично поддержан Рылеевым. Требуя от поэзии высокого гражданского содержания, Рылеев, так же как Бестужев и Кюхельбекер, осуждал мистические тенденции в творчестве Жуковского.

Рецензия Бестужева на антологию Боуринга хронологически предшествовала его последнему критическому обзору «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов» («Полярная звезда на 1825 год»). В этом обзоре, главной темой которого был вопрос о состоянии русской литературы, Бестужев, подобно Кюхельбекеру, ратовал за национальную самобытность и выступал против всякого рода подражательности.

Если в предшествующих своих обзорах Бестужев констатировал только неудовлетворительное состояние литературы, то теперь он определенно и резко выдвигает тезис, что в России есть критика, но нет литературы. Об отсутствии в России литературы говорил еще Вяземский в статье о «Кавказском пленнике» (1822), но Бестужев обосновал этот тезис, исходя из более глубоких общественно-исторических и политических предпосылок.

---

[1] «Литературные листки», 1824, №№ 19—20, стр. 32—45.
[2] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 10, стр. 118.

Констатирование болезненного, «ненормального состояния» русской общественной жизни — основное в рассуждениях Бестужева. Критерием общественного прогресса для него были интересы «политики», т. е., в переводе с эзоповского языка подцензурной печати, интересы освободительного революционного движения.

Резкой критикой общественных отношений отвечал Бестужев на поставленный им вопрос: «Отчего у нас нет гениев и мало талантов литературных». Касаясь всякого рода «ободрений» писательскому труду и разумея в данном случае «ободрения» монарха или меценатов, Бестужев с удовлетворением констатировал, что таких «ободрений» в России нет. «Ободрение может оперить только обыкновенные дарования: огонь очага требует хвороста и мехов, чтобы разгореться, — но когда молния просила людской помощи, чтобы вспыхнуть и реять в небе!.. Гении всех веков и народов, я вызываю вас! — восклицал Бестужев. — Я вижу в бледности изможденных гонением или недостатком лиц ваших — расцвет бессмертия! Скорбь есть зародыш мыслей, уединение — их горнило» (Соч., т. 2, стр. 549). В соответствии со всем ходом своих рассуждений Бестужев и определял деятельность гения как героическую, как миссию общественного служения, а в качестве великих образцов для писателей указывал на «просветителей народов», приводя в пример Альфиери и Байрона, связавших свое литературное дело с участием в освободительной революционной борьбе.

Подобно Кюхельбекеру, Бестужев полагал, что истинная поэзия не может не быть свободолюбивой, и рисовал тот же романтический образ поэта-избранника, преобразующего действительность, который представлялся и Кюхельбекеру. При таком понимании миссии поэта область искусства раскрывалась как область «идеалов», а сам поэт становился носителем этих идеалов. Совершенно естественно поэтому, что конкретные критические суждения и оценки Бестужева определялись критерием возвышенных чувств и мыслей. Так, в первой главе «Евгения Онегина» Бестужев выделял те стихи, «где говорит чувство», «где мечта уносит поэта из прозы описываемого общества» (Соч., т. 2, стр. 553). Особенно дорог Бестужеву оказался предпосланный первой главе «Евгения Онегина» «Разговор книгопродавца с поэтом», который «кипит благородными порывами человека, чувствующего себя человеком». Вершиной же творческих достижений Пушкина Бестужев считал не первую главу «Евгения Онегина», а «Цыган». Именно в этом произведении, по его мнению, гений Пушкина, «откинув всякое подражание, восстал

в первородной красоте и простоте величественной. В нем-то сверкают молнийные очерки вольной жизни и глубоких страстей и усталого ума в борьбе с дикою природою» (Соч., т. 2, стр. 553). [1]

Из других литературных явлений 1824 и начала 1825 года, упомянутых в обзоре Бестужева, интересен его восторженный отзыв о «Горе от ума». Намекнув на мнения по поводу «Горя от ума» литературных староверов и скептиков, Бестужев уверенно утверждал, что «предрассудки рассеются и будущее оценит достойно сию комедию и поставит ее в число первых творений народных» (Соч., т. 2, стр. 555).

Критический обзор Бестужева стал известен читающей публике весной 1825 года. В эту пору «шумела» в обществе распространявшаяся в списках комедия Грибоедова, в рукописи были известны «Цыганы», была издана первая глава «Евгения Онегина», только что вышло отдельное издание «Дум» и «Войнаровского» Рылеева. То было время большого общественного возбуждения. Обзор Бестужева явился настоящим событием и одним из ярких литературных предвестий 14 декабря 1825 года. Реакционеры и скептики напали на Бестужева, литераторы, связанные с кругом северных декабристов, приветствовали его.

После издания «Полярной звезды на 1825 год» Рылеев и Бестужев приступили к подготовке нового альманаха — «Звездочка на 1826 год», выпустить который им уже не удалось. Смерть Александра I явилась сигналом для подготовки вооруженного восстания. В воспоминаниях декабристов Бестужев рисуется «горячей головой», «запальщиком», а Батеньков называл его человеком, «способным в глазах на все крайности».

14 декабря под командованием Бестужева был выведен на Петровскую площадь Московский полк. После того как окончательно выяснилось, что восстание потерпело поражение, Бестужев сам явился на гауптвахту Зимнего дворца и был арестован. В письме к Николаю I из Алексеевского равелина Бестужев с удивительной смелостью заявлял, что если бы к декабристам присоединился Измайловский полк, он бы «принял команду и решился на попытку атаки, которой в голове... вертелся уже и план». [2] Письмо Бестужева к Николаю I, написанное во время следствия, замечательно отчетливым пониманием причин необходимости изменения общественного

---

[1] Ср. отзыв Бестужева о «Цыганах» в письме к В. И. Туманскому от 15 января 1825 г. Бестужев заметил здесь, что «Цыганы» Пушкина «выше всего, что он писал доселе» («Киевская старина», 1899, № 3, стр. 299—300).

[2] См. «Декабристы». Сост. Вл. Орлов. М.—Л., 1951, стр. 513.

строя в России. Особенно подчеркивались в письме ужасы крепостного права.

По приговору Верховного уголовного суда, Бестужев должен был быть отправлен в каторжные работы на 20 лет; срок был сокращен затем до 15 лет. После вынесения приговора Бестужев сначала был заключен в крепости «Форт Слава» в Финляндии, потом его отправили на поселение в Якутск и, наконец, по личному ходатайству перед царем, он был определен рядовым в Кавказский корпус.

5

В показаниях следственной комиссии, говоря о своих товарищах по Северному тайному обществу, Бестужев дал, между прочим, характеристику и Рылеева. По его словам, это был «один из самых ревностных членов общества, человек весь в воображении... Он веровал, что если человек действует не для себя, а на пользу ближних и убежден в правоте своего дела, то, значит, само провидение им руководит».[1] Бестужев признавался, что такое мнение делили с Рылеевым многие члены Северного общества и, конечно, прежде всего он сам. В своей революционной деятельности наиболее убежденные из декабристов видели предначертания судьбы, а история представлялась им как непреоборимая сила, приводящая роковым образом к борьбе «свободы» и «самовластья». При этом образ гражданина и борца сливался у декабристов с образом поэта-избранника. Так, Рылеев утверждал гражданское назначение поэзии, а Кюхельбекер писал о поэте как о «бренном сосуде той божественной силы, которая обновляет и возрождает человечество».[2] В понимании истории и политики Рылеев, Кюхельбекер, а вместе с ними и Бестужев оставались идеалистами-мечтателями и романтиками. На романтической основе вырастали героические и мужественные темы декабристской поэзии, к этой же основе восходят не менее характерные для нее мотивы роковой обреченности и гибели. Подобного рода мотивами пронизаны и «Думы», и «Войнаровский» Рылеева, и немногие его лирические стихотворения. Образ героя-человека, воплощенный в поэзии Рылеева, это образ трагического героя, идущего к своему роковому концу. И когда Рылеев был казнен, все творчество его приобрело особую значительность и осветилось заново. Поэтические произведения Рылеева приобрели смысл

---

[1] Восстание декабристов. Материалы, т. 1. М.—Л., 1926, стр. 444.
[2] «Мнемозина», 1824, ч. 4, стр. 74.

пророческого предвидения его собственной гибели и, таким образом, оказались неразлучными с его биографией.

Бестужев, как никто другой, был исключительно близок к Рылееву. Он был единомышленником Рылеева, и их творческие искания совпадали во многом. Поэтому совершенно естественно, что после поражения восстания и после казни его вождей, когда Бестужев вновь взялся за перо, он обратился к идеям, темам и образам, так недавно вдохновлявшим автора «Дум» и «Войнаровского». Подобно Рылееву, стремившемуся в историческом прошлом найти опору для своих свободолюбивых чаяний, и Бестужев вызывает образы седой древности, чтобы убедиться в правоте этих чаяний. Но перед Бестужевым стоит теперь и другая задача — уяснить для себя смысл пережитой катастрофы и определить свои позиции в новых условиях. Эту задачу Бестужев ставит перед собой и решает так, как это мог сделать идеалист и романтик.

В 1826—1827 годах, заключенный в крепости «Форт Слава», Бестужев задумывает здесь и частично осуществляет историческую повесть в стихах «Андрей Переяславский». Из пяти предположенных глав повести было написано только две, однако самый замысел, несомненно, был связан с попыткой Бестужева подвести итоги своему прошлому и осознать настоящее свое положение. Бестужев не изменил прежним свободолюбивым идеям, но теперь у него возникли иллюзии о возможности реформы сверху. Подобного рода надежды возникли ненадолго и у Пушкина, написавшего свои «Стансы». Пушкин в то время, как известно, создал утопию, воплощенную в образе Петра I, реформаторскую деятельность которого он приводил как пример Николаю I. У Бестужева его иллюзии и надежды воплотились в образе Андрея Переяславского, меньшого сына Владимира Мономаха, прозванного за его личные качества Добрым.

В повести Бестужева перед нами идея прежних его произведений, созвучная «думам» и поэмам Рылеева, — идея любви к отечеству. Но теперь эта идея осложнена новыми мотивами, характерными для последекабрьской поры. Власть может быть сильна только поддержкой и любовью народа. Княжение Андрея, как это показывает Бестужев, основано на взаимной любви народа и князя, на их взаимном понимании. Образу Андрея, посвятившего себя не славе, а «общественному благу», противопоставлены князья Всеволод и Святослав, а также боярин Любомир, которые руководствуются самым грубым эгоизмом. Сын Любомира, Световид, напротив, рисуется сторонником Андрея, восторженным поклонником правды и родины; вместе с Андреем он также противопоставлен отрица-

тельным персонажам. Андрей беззаветно храбр, и он не задумывается с опасностью для жизни броситься в единоборство с медведем, когда тот уже готов растерзать его подданного. Конечная цель стремлений Андрея — всеобщее братство и покой, именно такие, какими их мыслили декабристы. Подобно тому как герои «дум» и поэм Рылеева произносят декабристские монологи, так и Андрей в повести Бестужева говорит об «общественном благе» и его речи выдержаны в духе декабристской идеологической программы. Он ждет той радостной поры,

Когда на землю снидут вновь
Покой и братская любовь,
И свяжет радуга завета
В один народ весь смертный род,
И вера все пределы света
Волной живительной сольет,
Как море благости и света!

У Бестужева, как у Рылеева, стиль монологов исторических лиц и авторского повествования по существу не разнились между собой. В то время как Пушкин давно преодолел субъективно-лирический характер героя своих поэм и в «Евгении Онегине» создал объективный образ героя, объясняемого общественной обстановкой и средой, Бестужев, вслед за Рылеевым, утверждал в своем творчестве именно субъективно-лирического героя. Таков князь Андрей в повести Бестужева, таков же и Световид, в уста которого были вложены типично романтические признания:

Я возрастал; мои мечтанья
Росли невидимо со мной.
Мои любимые гулянья
Бывали там, где мрак лесной,
Где гребень гор возник порогом
Пред небожителей чертогом,
Куда носилася душа,
Священным воздухом дыша!
и т. д.

В повести об Андрее Переяславском Бестужев подвел итоги своей прежней поэтической работе, и поэтому мы встречаем здесь мотивы и темы, занимавшие его с давних пор. В лирических монологах «Андрея Переяславского» развертывается, в частности, тема

вечности и смерти, впервые намеченная Бестужевым в стихах из «Поездки в Ревель».

Во втором письме из Ревеля, под впечатлением снежной бури, заметавшей дорогу, Бестужев писал: «Не так ли, — думал я, — исчезнем и мы?

Промчатся веки вслед векам
За улетающим мгновеньем,
И смерть по жизненным путям
Запорошит наш след забвеньем!»

Буквально те же стихи мы находим в одном из монологов князя Андрея:

И лейтесь веки вслед векам
За улетающим мгновеньем!
И, смерть, по жизненным путям
Запороши мой след забвеньем!

Тему вечности и смерти Бестужев вводит не только в монологи героя своей повести, он обращается к этой теме неоднократно, он дает ее, между прочим, на фоне романтического пейзажа. Заросшие диким плющом развалины монастыря; витязь, сидящий на гробовом камне одинокого кладбища; забытый череп, лежащий в траве и пыли, — эти образы и сопутствующие им размышления о славе и бренности всего земного чрезвычайно характерны для колорита «Андрея Переяславского».

Декабристская героика и гражданственность объединились у Бестужева с поэзией судьбы и рока, которая опять-таки сближает его с Рылеевым. Романтика того и другого была связана с трагическим восприятием жизни, причем в последекабрьскую эпоху трагические начала должны были развиваться и расти, заслоняя начала гражданственные. Так оно и было у Бестужева. Его личное бедственное положение изгнанника могло только усугублять трагический взгляд на жизнь, который, действительно, все больше и больше начинает окрашивать его творчество.

В стихотворении «Осень» Бестужев словно отвечает на рылеевские «Стансы», ему посвященные. Как и Рылеев в «Стансах», Бестужев варьирует песню Жуковского «Отымает наши радости. . .», в которой Жуковский пересказал знаменитый романс Байрона «Stanzas for Music». Мотивы разочарования и одиночества, звучащие в рылеевских «Стансах», у Бестужева еще более сгущены:

Между мною и любимого
Безнадежное «прости!»
Не призвать невозвратимого,
Дважды сердцу не цвести.

Хоть порой улыбка нежная
Озарит мои черты,
Это — радуга наснежная
На могильные цветы!

В написанном в Сибири стихотворении «Шебутуй» образ водопада, низвергающегося в бездну, дается как символ собственной судьбы Бестужева:

Тебе подобно, гордый, шумный,
От высоты родимых скал,
Влекомый страстию безумной,
Я в бездну гибели упал!

6

В Якутске Бестужев зачитывался Байроном, изучал Томаса Мура и Гомера, а затем «плотно принялся за германизм», обратившись к занятиям немецким языком и к чтению произведений Гете и Шиллера в подлиннике.

Среди произведений Гете особенное внимание Бестужева привлекли восточные стихи, объединенные в «Западно-Восточном Диване». В 1828 году Бестужев перевел оттуда несколько стихотворений, которые находятся в тесной связи с его собственной интимной любовной лирикой этой поры («Лиде», «Ей»). Бестужев занимался изучением «Фауста», но вынужден был в конце концов признать, что Гете его «очень затрудняет». Наиболее близким поэтом по-прежнему был для Бестужева Байрон, и еще Томас Мур, которым он «услаждался» в Якутске одновременно с Байроном.

В Якутске же Бестужеву довелось познакомиться и с шестью главами «Евгения Онегина». Если к первой главе романа, известной Бестужеву еще до 14 декабря 1825 года, он отнесся с полуосуждением, то последующие главы разочаровали его еще больше. «Первые две главы Онегина здесь есть, — писал Бестужев сестре из Якутска 10 июня 1828 года, — и я знаю уже их наизусть, хотя вовсе не завидую герою романа Это какой-то ненатуральный от-

вар XVIII века с байроновщиной».[1] Через несколько месяцев, 25 декабря 1828 года, под впечатлением дальнейших глав «Онегина», кончая шестой, Бестужев писал братьям из Якутска: «Мой мир ограничивается собственной головой, в которой родятся и гибнут сыны мечтаний. Я не пугаю строфами своими даже диких уток, как это делает Пушкин, который, мимоходом сказать, ведет своего Онегина чем далее, тем хуже. В трех последних главах не найти полдюжины поэтических строф. Стихи игривы, но обременены пустяками и нередко небрежны до неопрятности. Характер Евгения просто гадок. Это бесстрастное животное со всеми пороками страстей. Дуэль описана прекрасно, но во всем видна прежняя школа и самая плохая логика».[2]

Порицание того пути, по которому шел Пушкин в «Евгении Онегине», для Бестужева было, конечно, далеко не случайно. Он критиковал «Онегина» с романтических позиций, и отход Пушкина от романтизма казался ему возвращением к прошлому — к рассудочности XVIII века. Область поэтического творчества по-прежнему представлялась Бестужеву лишь областью возвышенных идеалов, а в Пушкине он видел, по его собственным словам, «бога моды настоящего», который «весьма мало имеет в себе идеального, т. е. романтического».[3]

Шестая глава «Онегина» только подтвердила сложившийся у Бестужева взгляд на Пушкина. В шестой главе романа Пушкин иронизировал над романтизмом Ленского, с иронией вспомнив при этом и «модное слово идеал». Между тем творческие искания Бестужева как раз не выходили из сферы «идеального» и «романтического». Об этом свидетельствуют такие его стихотворения периода якутской ссылки, как «Череп», «Финляндия», «Часы».

Еще до декабрьской катастрофы в «Северных цветах на 1825 год» появилось стихотворение Баратынского «Череп», характерное для намечавшихся путей поэта к позднейшей философской лирике. П. А. Плетнев необыкновенно расхвалил это стихотворение, сопоставив его со стихотворением Байрона «Надпись на кубке из черепа» и отдав преимущество в разработке одного и того же сюжета Баратынскому. «Русский стихотворец в этом случае гораздо выше английского, — писал Плетнев. — Байрон, сильный, глубокий и мрачный, почти шутя говорил о черепе умершего человека. Наш

---

[1] «Памяти декабристов», т. 2. Л., 1926, стр. 205.
[2] «Русский вестник», 1870, кн. 5, стр. 248—249.
[3] «Памяти декабристов», т. 2 Л, 1926, стр. 206.

поэт извлек из этого предмета поразительные истины».[1] Стихотворение Баратынского и отзыв о нем Плетнева тогда же привлекли внимание Бестужева. В письме к Пушкину от 9 марта 1825 года Бестужев признавался, что он «перестал веровать» в талант Баратынского, и писал, что Баратынский «исфранцузился вовсе» и что «в самом Черепе» он не видит «целого — одна мысль, хорошо выраженная, и только. Конец — мишура. Байрон не захотел после Гамлета пробовать этого сюжета и написал забавную надпись, о которой так важно толкует Плетнев» (Соч., т. 2, стр. 628).

Через несколько лет Бестужев решил сам обратиться к сюжету Баратынского и вступить с ним в творческую полемику.

Гроб вопрошать дерзает человек —
О суетный, безумный изыскатель!
«Живи живой, тлей мертвый!» — вот что рек
Всего ясней таинственный создатель.

Его судьбам покорно гроб молчит.
Зачем же нас несбывшееся мучит?
Пусть радости живущим жизнь дарит,
А смерть сама их умереть научит.

Так гласил конец стихотворения Баратынского, охарактеризованный Бестужевым как «мишура». И вот Бестужев создает свое стихотворение «Череп», в котором решительно возражает Баратынскому. В стихах Бестужева перед нами тот самый «суетный, безумный изыскатель», который дерзает вопрошать гроб и который явно осужден Баратынским. Но Бестужев становится на его точку зрения, говорит от его лица, а все стихотворение построено как цепь вопросов этого «изыскателя»:

Кончины памятник безгробный!
Скиталец-череп, возвести:
В отраду ль сердцу ты повержен на пути,
Или уму загадкой злобной?

Не ты ли мост, не ты ли — первый след
По океану правды зыбкой?
Привет ли мне иль горестный завет
Мерцает под твоей ужасною улыбкой?

[1] «Соревнователь просвещения и благотворения», 1825, кн. 1, стр. 107.

Таким образом, Бестужев трактует тот же сюжет, что и у Баратынского, в субъективно-лирическом плане. Это и было для Бестужева осуществлением «идеального» и «романтического», что считал он самым главным в поэзии.[1]

Возможно, что в стихотворении «Финляндия» Бестужев тоже отталкивался от Баратынского, от его знаменитой элегии «Финляндия» (1820). В стихотворении «Финляндия» у Бестужева в центре стоит опять-таки лирическое «я» поэта. Величаво-угрюмые вековые громады, эти «остовы природы», вещают поэту «дивные пророчества». Так субъективно-лирически развивается у Бестужева тема вечности и смерти, развернутая еще в «Андрее Переяславском» и проходящая дальше в ряде стихотворений — в «Черепе», «Финляндии», «Часах».

В этих трех стихотворениях, и особенно в «Часах», Бестужев испытал несомненное влияние Державина: его «Водопада» и его оды «На смерть князя Мещерского». Именно у Державина, великого предтечи русских романтиков, Бестужев нашел не только идеи, но и образы для выражения того трагического понимания жизни, которое захватывало его все больше и больше в последекабрьский период.

Тема судьбы и смерти, проходящая сквозь лирику Бестужева, откликнулась также и в его прозе. Кюхельбекер, прочитавший в своем крепостном заточении повесть «Лейтенант Белозор», сочувственно отметил в ней «истинно высокие» места, как, например, следующее: «Нигде так величественно не слышится бой часов, как над бездной Океана — во мгле и тишине. Голос времени раздается тогда в пространстве, будто он одинокий жилец его и вся природа с благоговением внемлет повелительным вещаниям Гения веков, зиждущего незримо — неотклонимо».[2]

Поэтическое творчество Бестужева последекабрьской поры в основных своих темах автобиографично. В стихотворениях Бестужева отразилась прежде всего его личная судьба, судьба декабриста, страдающего за погибшее для него дело жизни. В этом смысле едва ли не узловым произведением всей лирики Бестужева является его стихотворение «Сон», перекликающееся с «Арионом» Пушкина. В стихотворении Бестужева перед нами проходят два сменяющих друг друга образа: сначала — образ всадника, низвергающегося вместе со своим конем в пучину, затем — образ пловца, которому суждено

---

[1] О формах интерпретации темы черепа в романтической поэзии см. в книге В. В. Виноградова «Стиль Пушкина». М., 1941, стр. 420—421.

[2] Дневник В. К. Кюхельбекера. Л., 1929, стр. 198.

плыть в «убогом челне» «меж сокрушающихся льдин» к пустыням и зыбучим тундрам. Характерно, что сходный образ пловца, несущегося в челне средь бурных волн, занимал воображение Бестужева еще в пору создания «Андрея Переяславского». Тогда же им была найдена и та поэтическая формула, которой впоследствии воспользовался Лермонтов в стихотворении «Парус».

Бушует бор, ущелье воет,
И вихорь цепь Карпата роет,
И гром катится вдалеке.
Но вот ярящимся Дунаем,
То видим, то опять скрываем,
Ловец плывет на челноке.
Белеет парус одинокий,
Как лебединое крыло,
И грустен путник ясноокий;
У ног колчан, в руке весло.

И в «Андрее Переяславском», и в своих лирических стихотворениях Бестужев говорил о своей собственной судьбе. Он сравнивал ее то с водопадом, низвергающимся в бездну («Шебутуй»), то с облаком, которое «бесславно, бесполезно» тает в небе. Стихотворение «К облаку» кончалось знаменательными строками:

Блести, лети на ветерке,
Подобно нашей доле —
И я погибну вдалеке
От родины и воли!

«Родина и воля» — этими двумя словами Бестужев выразил то, что осталось навсегда содержанием его жизни и творчества.

Мотивы разочарования и одиночества, окрашивающие лирику Бестужева, самая тема судьбы и смерти, так остро осознанная им, — все это имело своим источником то свободолюбие, которое вдохновляло его в эпоху декабризма. Бестужев продолжал рваться к большим чувствам и героическим поступкам и тогда, когда, будучи в ссылке, он обречен был на бездеятельность. Вот тут-то и заключалось трагическое противоречие, которое вызывало Бестужева на философские раздумья, определяло смену его поэтических настроений и раскрывалось в лирике контрастами бури и покоя.

Перспектива гибели вдалеке от «родины и воли» навела Бестужева на сравнение своей судьбы с облаком, тающим в небе. Впо-

следствии о родине и свободе с несравненно большей силой и глубиной заговорил Лермонтов, но и он, подобно Бестужеву, однажды ассоциировал то и другое с «небесными тучками»:

Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.

В стихотворении Лермонтова «Парус» («Белеет парус одинокий. . .») мы видим не только прямое использование поэтической формулы Бестужева, но также новую вариацию контрастов бури и покоя, так занимавших поэта-декабриста. Совершенно не случайно, что Лермонтов еще в ранней юности заинтересовался поэзией Бестужева, причем отдельные стихи и строфы «Андрея Переяславского» он дословно перенес в своего «Кавказского пленника».[1]

Историко-литературное значение Бестужёва как поэта состоит в том, что в его стихотворениях подготовлялись идеи и образы лермонтовской поэзии с ее специфическими темами несостоявшейся, но искомой социальной деятельности. Как художник, явившийся продолжателем наследия декабризма в новых исторических условиях, Лермонтов продолжил и развил также поэтические искания Бестужева.

7

После 14 декабря 1825 года на пять лет Бестужев оказался совершенно оторванным от литературы. Только некоторые его стихотворения при помощи сестры удалось проводить в печать начиная с 1829 года, а годом раньше, без имени автора и без его ведома, вышло в свет отдельное издание первой главы «Андрея Переяславского». Глава повести обсуждалась в критике, но никто не мог, конечно, и намекнуть на ее автора, соратника казненного Рылеева, бывшего соиздателя «Полярной звезды». Однако положение дел изменилось, когда в 1830 году за подписью А. М. в «Сыне отечества» была напечатана повесть Бестужева «Испытание». Повесть имела большой читательский успех, и Бестужев заново вошел в литературу. Вслед за «Испытанием» в петербургских и московских журналах под псевдонимом «А. Марлинский» были напечатаны «Лейтенант Белозор» (1831), «Фрегат Надежда» (1832), «Наезды»

[1] См. статьи Л. Семенова «К вопросу о влиянии Марлинского на Лермонтова» («Филологические записки», 1914, вып. 5—6) и Б. Неймана «К вопросу об источниках поэзии Лермонтова» («Журнал Министерства народного просвещения», 1915, кн. 4).

(1832), «Аммалат-бек» (1832), «Мореход Никитин» (1834), «Мулла Нур» (1836) и другие повести, военные рассказы и кавказские очерки. Бестужев по-прежнему оставался ссыльным и солдатом, подвергавшимся постоянным преследованиям и травле со стороны начальства, но в то же время к нему пришла громкая писательская слава.

В творческом развитии Бестужева его стихи существенны в том отношении, что они помогли оформлению его теоретических понятий о романтизме. С другой стороны, стихи Бестужева оказались не безразличны для его работы в области прозы.

Еще в своих критических обзорах в «Полярной звезде» Бестужев настойчиво указывал на необходимость перехода от стихов к прозе. И сам Бестужев в преддекабрьские годы, после книги «Поездка в Ревель», создал несколько исторических повестей, проникнутых настроениями и идеями декабризма. Критика феодальных отношений средневековья, борьба с сословными привилегиями и защита прав человеческой личности, сочувствие вольному Новгороду и провозглашение идей патриотизма — все это очень ярко отразилось в повестях Бестужева. В таких повестях, как «Замок Нейгаузен», «Замок Венден» и «Замок Эйзен», Бестужев был еще связан с традициями «готического» романа тайн и ужасов. В «Ревельском турнире», в повестях из древнерусской истории («Роман и Ольга», «Изменник») Бестужев стремился приблизиться к Вальтер-Скотту и учился у него изображению бытовых, «домашних» картин истории. «Твой Турнир напоминает Турниры W. Scott'a», — писал Бестужеву Пушкин в письме от конца мая — начала июня 1825 года.[1] Однако принципы подлинного историзма были в непримиримом противоречии с романтическим субъективизмом Бестужева. И это определило своеобразие его исторических повестей. На первом плане здесь выступали археологические и бытовые подробности, исторические названия и имена, что же касается до сюжета и героев — они не имели ничего общего с историческим правдоподобием. Установка на эффектность и мелодраматичность ситуаций, условность сюжета, а вместе с тем напряженность и метафоричность языка — вот что прежде всего характеризует повести Бестужева. Пушкин в том же письме к Бестужеву конца мая — начала июня 1825 года, коснувшись его повести из эпохи Смутного времени «Изменник», замечал: «Брось этих немцев и обратись к нам, православным; да полно тебе писать *быстрые* повести с романтическими переходами — это хорошо для поэмы байронической. Роман требует

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 10, стр. 147.

болтовни; высказывай все начисто. Твой Владимир говорит языком немецкой драмы, смотрит на солнце в полночь etc».[1]

Пушкин очень зорко уловил самые примечательные черты повестей Бестужева и указал на их связь с байронической поэмой. «Быстрые переходы» характерны были именно для байронической поэмы, обнажая остроту ее ситуаций, а «язык немецкой драмы» — это язык Шиллера и романтической поэмы, которым говорили одновременно и автор и его возвышенные герои. «Какая клевета черней этой правды? — спрашивает герой повести Бестужева Владимир Сицкий. — Да, я брошен в снедь бессильной злобе своей. Для чего мое негодование не дышит бурею! Для чего проклятия мои не могут летать и сжигать молниею, для чего этой рукой не могу я разорвать свод неба и обрушить его на головы врагов моих! ..» Эти слова, принадлежащие герою его повести, стоят в необычной близости к авторской речи. Точно так же как в романтической поэме, в повестях Бестужева образ автора обрисовывался в языке не менее ярко, чем образы героев. Близость повестей Бестужева к байронической романтической поэме ощутима также в метафоричности языка, в многочисленных сравнениях и, наконец, в лирических отступлениях, играющих в композиции повестей существенную роль.

Проза Бестужева 20-х годов была той «поэтической» прозой, которая сложилась на основе стиховой речи. В последекабрьские годы, пройдя через опыт романтической поэмы («Андрей Переяславский») и лирического творчества, Бестужев только развил и расширил свою склонность к «поэтической» прозе.

Поворот от стихов к прозе в 30-е годы был проявлением общего движения всей русской литературы от романтизма к поэзии действительности. Необходимость поворота от стихов к прозе совершенно отчетливо сознавал Пушкин, который, начиная с 1824—1825 годов, все больше и больше заботился о развитии прозы и который сам выступил в роли великого зачинателя реалистической прозы. В заметке 1828 года, написанной во время работы над седьмой главой «Евгения Онегина», Пушкин писал: «В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному». И в той же заметке Пушкин жаловался: «Мы не только еще не подумали приблизить поэтический слог к благородной простоте, но и прозе стараемся придать напыщенность, поэзию же, освобожденную от условных украшений

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 10, стр. 147.

стихотворства, мы еще не понимаем».[1] На путь этой поэзии, «освобожденной от условных украшений стихотворства», т. е. на путь прозы, и стал Пушкин в 30-е годы. Переход от стихов к прозе у Бестужева носил принципиально иной характер.

Нужно заметить, однако, что и Бестужев прекрасно понимал, что обращение к прозе диктуется не индивидуальными склонностями того или иного писателя, но что это обусловлено ходом развития всей литературы. И Бестужев выступал в 30-е годы против «языка условленного, избранного», и он стремился «к свежим вымыслам народным и к странному просторечию». Лозунг народности, выдвинутый Бестужевым в «Полярной звезде», привел его самого к пропаганде «простонародной» поэзии и ее языка, к требованию изучать устное народное творчество. Совершенно не случайно, что, будучи в Якутске, Бестужев предается изучению фольклора и языка якутов, а также тех этнографических вопросов, которые были связаны с их бытом. На Кавказе, где Бестужеву довелось провести с лишком семь лет, он прекрасно ознакомился с природой и бытом этого края, внимательно изучал кавказские наречия и кавказскую этнографию. Все это, несомненно, расширяло диапазон его творчества и, казалось бы, толкало к преодолению романтической субъективности. Однако на деле оказалось не так. Изучая и пропагандируя фольклор, Бестужев стремился объединить народность языка с «занимательностью» и романтическими «цветами слога». «Да и кто у нас пишет? — спрашивал он в письме к Н. А. Полевому 17 января 1832 года. — Или жители гостиных, которые раз в год прислушиваются к языку народа в балаганах и рады-рады, что выудят какое-нибудь пошлое выражение, с которым носятся, словно с писаною торбой. Это у них родимое пятнышко на маске, Весь прочий язык — сметана с разных горшков: что-то кисло-сладкое, плавающее в сыворотке бездарности, и все это посыпано свинцовым сахаром личности или солодковым корнем лести: прекрасное лекарство от кашля, не от скуки. Или такие люди, которым, конечно, нечего лазить в карман за *харчевными* выражениями, зато напрасен и труд дать этим речам занимательности».[2] Так стремление к народности языка совмещалось у Бестужева с презрительным отношением к «харчевным выражениям». Бестужев считал, что народность не должна противоречить занимательности, и потому он «с умыслом, а не по ошибке», как сам говорил, гнул «язык на разные лады», брал «готовое, если есть у иностранцев», вымышлял,

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 7, стр. 80—81.
[2] «Русский вестник», 1861, № 3, стр. 318.

«если нет», изменял «падежи для оттенков действия или изощрения слова» (Соч., т. 2, стр. 666). Забота об эффектности и занимательности языка всегда продолжала оставаться основной для Бестужева. И действительно, его повести неизменно блещут метафорами и сравнениями, каламбурами и остротами. Бестужев создал тот изысканный и нарядный язык, который Греч называл «бестужевскими каплями» и который сам Бестужев защищал и отстаивал принципиально: «Что касается блесток, — писал он брату Павлу 13 декабря 1833 года, — это я живой... переиначите мой слог, вы ощиплете его, вы окастратите его».[1]

Существенно отметить здесь, что между языком и стилем стихотворных произведений Бестужева и языком и стилем его прозаических вещей, в сущности говоря, нет принципиальной разницы. «Бестужевские капли» налицо и в «Андрее Переяславском» и в лирике Бестужева. Недаром критик «Московского вестника», разбирая первую главу «Андрея Переяславского» и укоряя автора за отсутствие в ней «логической связи», выписывал в своей рецензии целый ряд «темных выражений»: «Вот, например, слова Романа, мечтающего на развалинах монастырских:

О время, ангел истребленья
Деяний, зданий старины!
Хоронишь ты в степи забвенья
Великих мира и войны;
И лишь случайно, лишь украдкой
Одно из тысячи имен,
Обломок на пути времен,
Покрытый басенной догадкой,
Векует метою племен...

Одно имя, обломок (от чего?) на пути времен, покрытый *басенной догадкой* (?), случайно, украдкой, *векует метою племен*. Какой странный набор слов!» Критик «Московского вестника» приводил дальше целый ряд поразивших его выражений: «*Ангельская сила сходила падучей звездою на землю по зову тленной красоты..., летучий пар дышит млечной тучей, объемля венцом огонек*» и т. д.[2]

Особенности своей стилистики Бестужев готов был объяснить чуть ли не свойствами своего психического склада. Однако это

---

[1] «Отечественные записки», 1860, № 6 стр. 332.
[2] «Московский вестник», 1828, № 11, стр. 298—304.

тяготение к внешней эффектности и красивости не только в языке и стиле, но также в сюжетах и композиции повестей Бестужева отразило одну из примечательных черт, коренившихся в его романтическом мировоззрении.

8

В повестях «Испытание» и «Фрегат Надежда» Бестужев обратился к изображению фальшивого и корыстного «светского общества», обличать которое еще в 1825 году он призывал Пушкина. Бездушному и корыстному «свету» Бестужев противопоставлял своих возвышенных героев, «энтузиастов всего высокого и благородного». Таковы Гремин и Ольга в «Испытании», Правин и Вера во «Фрегате Надежда», где действие развертывается на фоне морской жизни. «На одной ветке распустились сердца наши, — говорит Правин Вере, — вместе должны б они цвесть; но судьба разрывает, рознит нас! Пускай же океан протечет между нами, пускай бушует, — он не зальет моей любви, лишь бы ты, ты, сокровище души моей, была невредима от этого пожара». В этой тираде, как и всегда у Бестужева, герои повести живут чувствами автора и говорят его приподнятым, цветистым языком. Автор как бы перевоплощается в своих героев. [1]

Обличая пустоту и фальшь светского общества, Бестужев защищал права личности, восстающей против этого общества. Тема личности стала ведущей для Бестужева и в его кавказских повестях. Если в повестях из жизни «света» Бестужев интересовался преимущественно «историей сердца», то в кавказских повестях он рисовал трагическую судьбу героических личностей, наделенных бурными страстями, сильной волей и храбростью. Таковы Аммалат-бек и Мулла-Нур — романтические герои одноименных кавказских повестей Бестужева. Кавказская экзотика и жизнь горцев как нельзя более соответствовали творческим устремлениям Бестужева, и поэтому кавказские повести и очерки заняли такое большое место в его литературной деятельности 30-х годов. Кавказские очерки Бестужева славились не только своей занимательностью, но ценились также и с фактической стороны.

Этнографическая достоверность и ценные реалистические подробности этих очерков и повестей из кавказской жизни, авторское

---

[1] О языке и стиле романтической прозы 1830-х годов, и в частности прозы Бестужева, см. в работе В. В. Виноградова «Стиль прозы Лермонтова». «Литературное наследство», № 43—44. М., 1941

сочувствие, проявленное в них по отношению к патриотизму и свободолюбию горцев, — все это неизменно совмещалось у Бестужева сс схематичностью и примитивностью образов, с декоративностью поз и жестов его героев. Герои Бестужева вели свою литературную родословную от романтических поэм Байрона, наследуя от них и нарочитую театральность и в то же время большие страсти, сильную волю, ненависть к пошлости и рутине. Наряду с Байроном очень родствен и близок Бестужеву в 30-е годы стал Виктор Гюго, которым он зачитывался и которого считал первым писателем Европы.

С начала 1831 года установились связи Бестужева с редакцией «Московского телеграфа», журнала, по словам Белинского, «как бы издававшегося для романтизма».[1] Бестужев не только печатался в «Московском телеграфе», но и состоял в деятельной переписке с руководителями журнала, братьями Николаем и Ксенофонтом Полевыми. На страницах «Московского телеграфа» увидела свет знаменитая критическая статья Марлинского о романе Н. А. Полевого «Клятва при гробе господнем».[2] Разбор самого романа занял в статье очень немного места, центральная же часть статьи была посвящена историческому обзору западноевропейской и русской литературы от древности и до XIX века. Марлинский торжественно провозглашал победу романтизма, показывал общественно-историческую необходимость его развития и успехов, наконец определял место романтизма в истории культуры и литературы. «Поэт в наш век не может не быть романтиком», — заявлял Марлинский (Соч., т. 2, стр. 594).

Из писем Марлинского известно, что его статья очень сильно пострадала в цензуре. «Насчет романтизма в разборе «Клятвы при гробе господнем» скажу, что в ней не читали вы лучшего, — писал он братьям 1 декабря 1835 года, — и потому нельзя вам сýдить о целом и связи» (Соч., т. 2, стр. 666). «О ней нельзя судить по скелету, обглоданному цензурою, — писал он также Ф. В. Булгарину 21 февраля 1834 года, — половина ее осталась на ножницах, и вышла чепуха. Самые высокие по чувству места, где я доказываю, что Евангелие есть тип романтизма, уничтожены».[3]

Цензура сократила и совершенно исказила как раз ту часть статьи, которая содержала общеэстетическую декларацию автора.

---

[1] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 7. М., 1955, стр. 144. Ниже ссылки на сочинения Белинского даются по этому изданию (тт. 1—12. М., 1953—1956).

[2] «Московский телеграф», 1833, №№ 15—18.

[3] «Русская старина», 1901, № 2, стр. 403.

Одна из мыслей Марлинского, невозможная для тогдашней печати, заключалась в утверждении, что Евангелие «было первообразом новой словесности, первым рассадником идеализма».[1]

С идеалистических романтических позиций Марлинский и давал оценку всего развития мировой культуры. Он обрушивался на материалистическую философию и просветительную литературу XVIII века во Франции, с гневом говорил о Вольтере, но зато с большой симпатией о Руссо, в котором видел представителя романтизма «в эту пору вещественности», «звено между материализмом века и духовностью веков» (Соч., т. 2, стр. 585—586).

Наибольший интерес статьи Марлинского заключался в попытке общественно-исторического обоснования романтизма, развитие которого он ставил в связь с судьбами западноевропейской буржуазии. Эта концепция сложилась под влиянием французских историков и носила ярко выраженный буржуазно-демократический характер. На упреки братьев, что в статье чувствуется влияние О. Тьерри и других историков, он оправдывался так: «Что в некоторых местах сталкиваюсь я с Тьерри и другими, виновата история, что для всех одно и то же описала. Я не выдумывал фактов, как Вольтер или Щербатов» (Соч., т. 2, стр. 666).

Одним из важных последствий крестовых походов Марлинский считал проникновение в Европу восточных сказок, в которых «впервые простолюдины стали играть роли наравне с визирями и ханами, и дворяне в первый раз сознались вниманием своим, что и народ может быть очень занимателен, — народ, который у себя водили они в ошейниках, будто гончих, и ценили часто ниже гончих». Марлинский говорил далее о «простонародной» поэзии как первооснове письменной литературы и о необходимости возвращения литературы к этой поэзии (Соч., т. 2, стр. 579).

В статье прославлялась буржуазия как передовой класс, совершивший громадный переворот в мировой культуре и давший новое направление ее развитию.

Выступление Марлинского явилось настоящим манифестом романтизма, а вместе с тем его апологией. В теории, так же как и в своей художественной практике, Марлинский защищал и отстаивал романтизм до конца своих дней.

Сейчас даже трудно представить себе, насколько велика была популярность Марлинского в 30-е годы. Начиная с 1832 года, без имени и псевдонима автора, начали выходить одно за другим изда-

---

[1] См. Н. Котляревский. Декабристы... М., 1907, стр. 343. Здесь приведены исключенные цензурой страницы о Евангелии.

ния его сочинений под заглавием «Русские повести и рассказы». По выражению К. А. Полевого, эти издания «таяли на полках, как подмоченный сахар». Белинский писал впоследствии, что в Марлинском видели «Пушкина прозы», «русского Бальзака», «великого поэта, гения первого разряда», которому нет соперников в русской литературе.[1] Несколько десятилетий спустя Тургенев в рассказе «Стук... стук... стук» (1870) словами своего рассказчика вспоминал, что Марлинский «в тридцатых годах гремел как никто — и Пушкин, по понятию тогдашней молодежи, не мог идти в сравнение с ним. Он не только пользовался славой первого русского писателя: он даже — что гораздо труднее и реже встречается — до некоторой степени наложил свою печать на современное ему поколение. Герои à la Марлинский попадались везде, особенно в провинции и особенно между армейцами и артиллеристами; они разговаривали, переписывались его языком; в обществе держались сумрачно, сдержанно — с «бурей в душе и пламенем в крови...» Женские сердца «пожирались» ими. Про них сложилось тогда прозвище: «фатальный». Тип этот, как известно, сохранился долго, до времен Печорина».

Бестужев-Марлинский был еще в зените своей славы, когда на литературное поприще вступил Белинский, вскоре же начавший борьбу за гоголевское направление. Вслед за Гоголем в русскую литературу вошел и Лермонтов.

За три года до гибели Марлинского Белинский в «Литературных мечтаниях» (1834) по-новому поставил вопрос о сущности его таланта и об особенностях его творчества.

Назвав Марлинского одним «из самых примечательнейших наших литераторов», Белинский отметил, что «он теперь безусловно пользуется самым огромным авторитетом: теперь перед ним всё на коленях».[2] Вопреки восторженному общему мнению о писателе, Белинский охарактеризовал Марлинского как талант, «но талант не огромный, талант, обессиленный вечным принуждением, избившийся и растрясшийся о пни и колоды выисканного остроумия».[3] Отсутствие простоты и естественности, а потому непрерывные натяжки, «более фраз, чем мыслей, более риторических возгласов, чем выражений чувства»,[4] — таковы, по мнению Белинского, были отличи-

---

[1] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 83; т. 4, стр. 28.

[2] Там же, т. 1, стр. 83.

[3] Там же, стр. 85.

[4] Там же, стр. 83.

тельные черты прославленных романтических повестей Марлинского.

Когда в 1835 году вышли из печати «Арабески» и «Миргород» Гоголя, Белинский, сопоставляя с ним Марлинского, мог высказаться еще более ясно и определенно.

В статье «И мое мнение об игре Каратыгина» он писал: «В искусстве есть два рода красоты и изящества, так же точно, как есть два рода красоты в лице человеческом. Одна поражает вдруг, нечаянно, насильно, если можно так сказать; другая постепенно и неприметно вкрадывается в душу и овладевает ею. Обаяние первой быстро, но непрочно; второй медленно, но долговечно: первая опирается на новость, нечаянность, эффекты и нередко странность; вторая берет естественностью и простотою. *Марлинский* и *Гоголь* — вот вам представители того и другого рода красоты в искусстве».[1] Белинский никогда не отрицал в Марлинском таланта, называл его «первым нашим повествователем», «зачинщиком русской повести»,[2] но при этом всегда указывал на слабые стороны его творчества.

Свой приговор Марлинскому, впервые сформулированный в «Литературных мечтаниях», Белинский повторил в статье «О русской повести и повестях Гоголя» (1835) и наконец нанес страшный удар по Марлинскому и по всему русскому романтизму в специальной статье, написанной в связи с выходом в свет посмертного собрания сочинений Марлинского (1840). В этой статье Белинский определял его творчество как поэзию, но поэзию «не мысли, а блестящих слов», талант Марлинского — как «чисто *внешний*, не из мысли создающий образы, а из материи выделывающий красивые вещи».[3] В борьбе за искусство, которое выражает истину, т. е. воссоздает процессы, происходящие в самой действительности, Белинский был беспощаден к Марлинскому, у которого он не видел «ни характеров, ни лиц, ни образов, ни истины положений, ни правдоподобия в интриге».[4] Такой приговор Марлинскому для своего времени был совершенно закономерен и необходим. Столь же закономерно было отрицательное отношение Белинского к «необычайному» и эффектному в искусстве. Все это характеризовало тот кризис романтического мировоззрения и стиля, который отражал происходившие общественные изменения в стране и дальнейшую ломку

---

[1] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 180.
[2] Там же, стр. 272.
[3] Там же, т. 4, стр. 46.
[4] Там же, стр. 42.

крепостнического строя. Позиция Белинского теоретически обобщила, в частности, творческие устремления Гоголя.

В своих статьях «Последний день Помпеи» (о картине Брюллова) и «Несколько слов о Пушкине» Гоголь ставил вопрос о соотношении эффектного и безэффектного в искусстве, принципиально защищал «простоту» и «безэффектность» и утверждал, что величайшая задача художника — изобразить «обыкновенное», потому что «чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина».[1] В этих словах о поэзии «обыкновенного», осознававшейся Гоголем как один из основных художественных заветов Пушкина, был выражен теоретический тезис, ставший руководящим не только для самого Гоголя, но и для критики Белинского, для всего современного им реалистического движения 30—40-х годов. Поэзия «обыкновенного» не означала, однако, полного отрицания или забвения художественных ценностей романтизма. Белинский, так же как и Гоголь, рассматривал романтизм как необходимый и важный этап на путях к реалистическому искусству.

В статье «Петербургская сцена в 1835—36 г.» Гоголь находил, что романтизм был «больше ничего, как стремление подвинуться ближе к нашему обществу». Словно Марлинского Гоголь имел в виду, когда он говорил, что «переход к этому стремлению, то есть первые взрывы и попытки производятся обыкновенно людьми отчаянными, дерзкими, какими производятся мятежи в обществах. Они видят несвойственные формы, несоответствующие нравам и обычаям правила, и ломятся напролом чрез все».[2] Именно таков был и Марлинский с его духом мятежа и протеста, который привел его в ряды декабристов и который обусловил самую сущность его романтизма. Но романтики, по мнению Гоголя, произвели беспорядочное брожение «ветхого и нового», они «произрастили хаос, из которого потом великий творец спокойно и обдуманно творит новое здание»[3]. Так романтизм явился необходимой подготовкой к новому направлению поэтического творчества, к поэзии действительности.

Белинский, тем не менее, не забывал и о положительном значении Марлинского в развитии русской литературы. «Марлинский явился на поприще литературы тем самым, что называлось тогда

---

[1] Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений, т. 8. М.—Л., 1952, стр. 54.
[2] Там же, стр. 553—554.
[3] Там же, стр. 554.

романтиком, — писал Белинский в своей статье 1840 года. — Как Сумароков, Херасков, Петров, Богданович и Княжнин хлопотали из всех сил, чтобы отдалиться от действительности и естественности в изобретении и слоге — так Марлинский всеми силами старался приблизиться к тому и другому».[1] В этой оценке со всей определенностью подчеркнуты прогрессивные стороны творчества Марлинского.

Мы рассматриваем сейчас Марлинского как писателя, отразившего своими произведениями декабристский этап в развитии русской литературы, а в борьбе, которую вел с ним Белинский, видим начало нового этапа, связанного с ростом молодой русской демократии. И с этой точки зрения Марлинский представляет выдающийся интерес: его творчество сохраняет большое историческое значение.

Совершенно не случайна значительная преемственность, идущая от Марлинского к Гоголю, прежде всего в лирической стихии его творчества, и к Лермонтову — в постановке проблемы личности, борющейся за свое освобождение от оков «светского общества», от власти предания.

Выступая в качестве поборника романтизма, Марлинский вел борьбу со всеми теми силами в литературе, которые мешали его развитию. Поэтому Марлинский необходимо должен был действовать не только как новеллист и поэт, но и как критик. И эту сторону деятельности Марлинского особенно выделял и ценил Белинский. «Вообще Марлинскому, как критику, литература наша многим обязана»,[2] — подчеркивал он. Тенденциями общественно-исторического подхода к литературе, борьбой с подражательностью и пропагандой родного языка, стремлением к народности художественного творчества — всеми этими особенностями своих критических статей Марлинский по праву занял место одного из предшественников самого Белинского в области критики.

* * *

Как поэт, Марлинский вошел в историю русской революционной лирики своими агитационными песнями, созданными совместно с Рылеевым. Большинство прочих стихотворений Марлинского характеризует поэзию декабристов после декабря 1825 года. Вместе с заточенным в крепость и отправленным потом в ссылку Кюхель-

---

[1] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 4, стр. 28.
[2] Там же, стр. 30.

бекером, вместе со ссыльным А. И. Одоевским Марлинский был представителем разбитого, но не уничтоженного движения, участие в котором осталось ему дорого навсегда. В 1829 году, покидая сибирскую ссылку и отправляясь на Кавказ, Марлинский написал следующее четверостишие, обращенное к одному из декабристов:

Ты взора не сводил с звезды своей вожатой
И средь пустынь нагих, презревши бури стон,
Любви и истины искал святой закон
И в мир гармонии парил мечтой крылатой.

Так была засвидетельствована преданность Бестужева-Марлинского идеалам «Полярной звезды».

Облик Марлинского-писателя был бы не полон без его стихов еще и потому, что они разъясняют нам сущность его романтизма и природу его «поэтической» прозы.

Белинский, судивший Марлинского очень строго, тем не менее счел возможным отметить в «Андрее Переяславском», особенно во второй главе, «места истинно поэтические». Выделял Белинский и песни горцев в «Аммалат-Беке», считая даже, что они «лучше всей повести: в них так много чувства, так много оригинальности, что и Пушкин не постыдился бы назвать их своими». [1]

Н. Мордовченко

ОТ РЕДАКТОРА

Статья видного советского литературоведа Николая Ивановича Мордовченко (1904—1951) была написана в 1947 году, для первого издания настоящей книги. За прошедшие с тех пор одиннадцать лет появился ряд работ, посвященных литературно-общественной деятельности А. А. Бестужева. В свете новых данных статья Н. И. Мордовченко нуждается в уточнениях и дополнениях. Излагаем здесь кратко наиболее существенные из них.

В статье справедливо признается тесная связь Бестужева, в начале его литературной деятельности, с карамзинской школой. Столь же справедливо, что уже в первые годы в деятельности Бе-

[1] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 85.

стужева проявились черты будущего декабристского романтизма, что Бестужев и тогда «сохранял самостоятельность и своеобразие своего лица». Однако правильное положение Н. И. Мордовченко: «Бестужеву были присущи гражданские темы, темы обличения социального неустройства, он не сочувствует общественному безразличию карамзинистов и их «легкой» сатире нравов, — подкреплено лишь ссылкой на «Подражание первой сатире Буало» и характеристикой критических выступлений Бестужева. Что же касается ранней художественной прозы Бестужева, то она охарактеризована в статье только как продолжение традиций карамзинизма и «готического» романа тайн и ужасов. Между тем черты декабристского романтизма прослеживаются и в ранней прозе Марлинского. Так, например, свободолюбивая и патриотическая повесть «Роман и Ольга» была одним из первых проявлений характерного для декабристов республиканского культа древнего Новгорода и его общественного устройства.

В «Поездке в Ревель» с передовых, антифеодальных позиций, выражая явное сочувствие эстонским крестьянам, рассказывал Бестужев о прошлом Ливонии.

Ранние исторические повести Бестужева, при всей их «эффектности» и мелодраматичности, как теперь установлено, написаны были на реальном материале ливонских хроник. Учет этого обстоятельства, вероятно, позволил бы Н. И. Мордовченко более точно определить место этих повестей в общем движении русской литературы 1820-х годов.

Говоря об особенностях декабристской романтической поэзии, Н. И. Мордовченко несколько отвлеченно охарактеризовал свойственные ей мотивы роковой обреченности и гибели, трагического восприятия жизни, что может создать впечатление о жертвенности подвига декабристов, о пессимизме декабристской идеологии. Ведя борьбу за передовые идеалы своего времени, декабристы, конечно, отдавали себе отчет в возможности, даже вероятности поражения — но именно вероятности, а не неизбежности; готовность же их к гибели в неравной борьбе с «утеснителями народа» (Рылеев) следует рассматривать как сознание прогрессивного исторического смысла этой борьбы.

Характеристика агитационных песен Рылеева и Бестужева также может быть уточнена — в том смысле, что эти произведения свидетельствуют об известном преодолении Рылеевым и Бестужевым декабристской отчужденности от народа. В этой связи необходимо отметить, что автору статьи не мог быть известен весь цикл «подблюдных» песен, обнаруженный целиком лишь в 1950 году, и что

для большинства этих песен ныне предполагается единоличное авторство Бестужева.

Недостаточно четкое объяснение получила у Н. И. Мордовченко оценка творчества Бестужева, данная В. Г. Белинским. «Приговор Марлинскому для своего времени был совершенно закономерен и необходим», — указал Н. И. Мордовченко. Существенно подчеркнуть, что в последний период своей литературно-критической деятельности, когда борьба за гоголевский реализм в сущности была уже выиграна, Белинский более исторически подошел к определению литературных заслуг Бестужева. В 1847 году в рецензии на «Второе полное собрание сочинений» А. Марлинского Белинский писал: «Марлинский навсегда останется замечательным лицом в истории русской литературы. Его сочинения останутся навсегда любопытным памятником той литературной эпохи, которая так резко отразилась в них». [1]

Отдельные уточнения фактического характера произведены непосредственно в тексте вступительной статьи.

---

[1] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 10, стр. 363.

А. БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ

I

Близ стана юноша прекрасный
Стоял, склонившись над рекой,
На воды взор вперивши ясный,
На лук опершися стальной.

Его волнистыми власами
Вечерний ветерок играл,
Свет солнца с запада лучами
В щите багряном погасал.

Он пел: «Вы, ветерки, летите
К странам отцов, к драгой моей,
Что верен был всегда, скажите,
Отчизне, славе, чести, ей.

Отечество и образ милой
В боях меня воспламенят,
Они своей чудесной силой
Мне в грудь геройства дух вселят.

Когда ж венец побед лавровый
Повергну я к стопам драгим,
Любовь мне будет славой новой,
Блаженство, коль еще любим.

Но, может, завтра ж роковая
Меня в сраженьи ждет стрела,
Паду и сам, других сражая,
Во прах на мертвые тела.

Тогда вы, ветерки, летите
К любезной сердцу с вестью сей,
Что за отчизну пал, скажите,
Для славы, для драгой моей».

Умолк! Лишь лука тетивою
Вечерний ветерок звучал,
И уж над станом и рекою
Луны печальный свет блистал.

До 1818 (?)

Себе любезного ищу
Без хитрости и без искусства,
В любви я находить хочу
Не прихоть, а сердечны чувства.

Чтоб милого найти такова,
На все я опыты готова,
Коль нужно, сквозь огонь и воды
Его найду
И для него на край природы
Везде пойду.

Хочу, чтоб был он в тридцать лет.
В сей возраст мыслят, рассуждают, —
Весну увенчивает цвет,
Но летом розы собирают.

И ловкий вид, и простота
Мой дух почти равно прельщают,
Но чувствований красота
Меня пленяет, восхищает.

Чтоб милого найти такова *и проч.*

Хочу, чтоб в пламенных очах
То резвость милая блистала,
То в томных иногда глазах
Чтоб я задумчивость читала.

Хочу, чтоб милый был умен,
Но без ученого педантства, —

С стрелой смеется купидон,
Но циркуль не его убранство.

Чтоб милого найти такова *и проч.*

Хочу таланты видеть в нем,
В них — прелесть жизни скоротечной,
Они щепят своим огнем
Мученье зависти сердечной.

Хочу, чтобы любезный мой
И ревности питал бы чувство:
Излишне мало — знак худой,
Излишне много — есть безумство.

Чтоб милого найти такова *и проч.*

Приятно видеть перлы слез,
Которы тмят прелестны взоры,
Подобно как на листьях роз
Сверкают слезочки Авроры.

Хочу, чтоб сей любимец счастья
Мог плакать в недрах сладострастья.
Так, существует милый мой,
Не тщетно сердце пламенеет,
Богов он сотворен рукой,
Любить и нравиться умеет.

Чтоб совершить мои желанья,
На все готова испытанья,
Без страха сквозь огонь и воды
Его найду,
Пойду хотя на край природы,
Или умру.

До 1818 (?)

ДУХ БУРИ

(Из Лагарпа)

Отважным Гамою ведомы корабли
В безвестный Океан за славою текли.
Уж скалы Африки от взоров убегали,
Как вдруг из влажных недр неведомых валов
Восстал призра́к до облаков —
И устрашенные пловцы вострепетали.

Покрыла бурную пред ним стихию мгла,
Столпились тучи вкруг грозящего чела,
И гром, и вихрь окрест, и молнии вилися.
Зловещий глас его подвигнул дно морей.
Отгромы бедственных речей,
Раздавшись вдалеке, над бездной пронеслися.

«Остановись, — он рек, — неистовый народ!
Познай во мне царя тобой струимых вод,
Впервые от рулей белеющихся пеной.
Не мните ль, что себя дозволю оскорбить.
Кормами океан браздить,
Без казни нарушать покой сих мест священный?

Нет, трепещи! Твой дух, корыстолюбьем полн,
До быстрых пронесет тебя Мелинда волн,
Которые вотще судьба вдали сокрыла;
Тебе последуют несчетны племена,
Но вновь открытая страна
Всем будет пришлецам обширная могила.

Уже мне слышится среди судокрушенья,
Смешавшись с ревом бурь, прерывный крик сраженья
И громы медных жерл с перуном в небесах.
Но победители, равно как побежденны,
Моею бездной поглощенны,
С преступным золотом сокроются в волнах».

Скончал! — И вдруг, склонясь над пенными валами,
Между шумящими сокрылся он скалами,
Где стонут ярые валы, дробясь о них.
Казалось, твердь зажглась и рухнул брег гранитный,
И вдруг перун зубчатовидный
Трикраты проблеснул по грядам туч густых.

<1818>

К К<РЕНИЦЫН>У

Тебе ли, муз питомец юный,
Томить печалью звучны струны,
Чело под скукою клонить?
Прожив три люстра с половиной,
Полет забывши соколиный,
Оледенить себя судьбиной!
Поэту ль малодушным быть?

Бесспорно, что не в нашей воле
Быть счастливыми в сей юдоле;
Но можно менее страдать
В оковах грусти бесполезной;
Поверь мне в этом, друг любезный:
Возможно жезл судьбы железной
Терпением перековать.

Не вечно ветр в долинах воет,
Не век перун крылатый роет
Гранитну цепь Кавказских гор;
Почто же волею своею
Страдать подобно Прометею,
Топтать веселия лилею,
Печалью свой туманить взор?

Конечно, кто избег кручины!
От ней ни юность, ни седины,
Ни сан, ни род не защитят, —
Везде ее проникнут жалы,

И часто пиршества бокалы
Вздыханья царские струят.

Но ах! чему тоска поможет?
Она шипы на розах множит,
В пыл жизни чувства холодит;
Нам радости даны часами,
Но грусть свинцовыми крылами
Вперед нас двигает годами;
А невозвратна жизнь летит.

Друг! примирись с самим собою,
Престань печальною мечтою
Болезнь сердечну пробуждать.
Пусть зе́фир дружбы с новой силой
Развеет мрак души унылой,
Путь жизни бог Цитеры милой
Забав цветами будет стлать.

Последуй дружества совету:
Поставь лишь радости за мету,
А скуку на ветер пускай;
То с чашей нектара златою,
То граций с резвою толпою
Спеши знакомою тропою
И в счастьи счастье воспевай!

1818

ШАРАДЫ

1

Часть *первая моя* в турецкой стороне
Гроза для янычар и часто для султана;
Вы *окончание* хотите знать *во мне?*
Оно в Германии отличьем служит сана;
А *целое мое* — у россиян
Есть имя знатных и крестьян.

2

Лишенный головы, ни рыба я, ни зверь,
Но ползаю в воде и в пищу пригожуся;
Мне дайте голову — с водой соединюся
И вас развеселю. Узнаете ль теперь?

<1819>

ПОДРАЖАНИЕ ПЕРВОЙ САТИРЕ БУАЛО

Бегу от вас, бегу, петропольские стены,
Сокроюсь в мрак лесов, в пещеры отдаленны,
Куда бы не достиг коварства дикий взор
Или судей, писцов и сыщиков собор.
Куда бы ни хвастун, ни лжец не приближался,
Где б слух ни ябедой, ни лестью не терзался.
Бегу! .. Я вольности обрел златую нить.
Пусть здесь живет Дамон, — он здесь умеет жить.
За деньги счастия нередким став примером,
Он из-за стойки в год возникнул кавалером.
Пусть Клит живет, его коммерчески дела
Французов более нам причинили зла.
Иль Граблев, коего бесчинства всем знакомы,
Ивана Каина могли б умножить томы.
Иль доблестный одной дебелостью Нарцисс
Пускай меняет здесь сиятельных Лаис.
Пусть к пагубе людей с друзьями записными
Понт счастье пригвоздил за картами своими.
Пусть Грей, любя одни российские рубли,
Катоном рядится отеческой земли
И с четками в руках твердит: «Чтоб жить безбедно,
Нам щит — невежество, нам просвещенье вредно».
Таким людям житье в продажной стороне.
Но мне здесь жить? К чему? И что здесь делать мне?
Могу ль обманывать? Могу ли притворяться?
Нет! Чтоб возвыситься — постыдно пресмыкаться!
Свободен мыслию, хоть скованный судьбой,
Не променяюсь я за выгоды душой.

Не захочу, на крест иль чин имея виды,
Смывать забвением вельможные обиды
Иль продавать назло и вкусу, и ушам
Тому, кто боле даст, стиховный фимиам!
Служить любовникам не ведаю искусства
И знатных услаждать изношенные чувства;
Я продаю товар, каков он есть, лицом:
Осла ослом зову, Бибриса — подлецом.
За то гоним, презрен, забыт в несчастной доле,
Богат лишь бедностью, скитаюсь в Петрополе.
«Скажи, к чему теперь, — я слышу, говорят, —
Слинявшей мудрости цинический наряд?
Сей добродетели Обуховской больницы
Давно в помине нет у жителей столицы.
Высокомерие здесь — титул богачам,
А гибкость, рабство, лесть приличны беднякам.
Сим только способом бессребренны поэты
Исправить могут зло их мачехи-планеты».
Так! В наш железный век Фортуна-чародей
Творит директоров из глупых писарей.
Злорада, например, на смех, на диво свету
С запяток в пышную перенесла карету
И, золотым шитьем сменивши галуны,
Ввела и в честь, и в знать умильностью жены.
Теперь он, пагубным гордясь законов знаньем,
Упитан грабленным соседей достояньем,
С сверкающих колес стихиею своей
Из милости грязнит достойнейших людей.
Меж тем как Персий наш пешком повсюду рыщет
И обонянием чужих обедов ищет;
И, рад или не рад, нуждою предведом,
По дыму трубному спешит из дому в дом.
Конечно, русский Тит, в наградах справедливый,
Вплетая в лавр побед дельфийские оливы,
Гордыню разгромив, в Европе бедных муз
Рукою благости освободил от уз.
Меч превращается в Эрмиев жезл крылатый.
Наш Август царствует, — но где же Меценаты?
Опорой слабого кто обречется быть?
Притом возможно ли дорогу проложить
Сквозь тысячи певцов, искателей голодных,
Стихосплетателей похвал простонародных,

На коих без заслуг струится дождь щедрот:
Шмели у пчел всегда их расхищают сот.
Престанем же наград лелеять ожиданье, —
Без покровителей что значит дарованье?
Ужель не видим мы Боянов наших дней,
Влачащих жизнь свою без денег, без друзей,
Весной без обуви, а в зиму без шинели,
Бледнее схимников в конце страстной недели,
И получающих в награду всех трудов
Насмешки, куплены ценою их стихов,
На коих потеряв здоровье и именье,
Лишь в смерти зрят себе от бедности спасенье?
Иль, за долги в тюрьме простершись на досках,
Без хлеба в жизни сей, бессмертья ждут в веках.
На авторов давно прошла у знатных мода,
И лучший здесь поэт, честь века и народа,
Вовек не будет чтим с шутами наравне.
«Ступай в подьячие, там счастье», — шепчут мне.
Неужли должен я, наскучив Аполлоном,
Как прежде рифмами, — теперь играть законом
И локтем обметать чернильные столы?
Как? Чтобы я, сменив корысть на похвалы,
В дедале крючкотворств бессмысленных блуждая
И звоном золота невинность заглушая,
Для сильных стал весы Фемиды уклонять,
По правде белое — по форме черным звать?
И в справках вековых, в сношениях напрасных
Бесстыдно волочить просителей несчастных?
Скорей, чем эта мысль мне в голову придет,
В июне месяце Неву покроет лед.
Скорей луна светить в подлунную престанет,
Вралев писать стихи, злословить Клит устанет,
И Трусова скорей увидят храбрецом,
Чем я решусь сидеть в палатах за столом.
Почто же медлить здесь? Оставим град развратный,
Не добродетелью — лишь зданиями знатный,
Где дерзостный порок деяний всех вождем,
Заслуги с счастием нейдут одним путем,
Коварство кроется в куреньях тонкой лести,
Где должно почести купить ценою чести,
Где под личиною закона изувер
В почтеньи, истину скрывая тьмой химер,

Где гнусные ханжи и набожны прелесты
Нинонысдух таят под покрывалом Весты,
Где роскоши одной не прегражден успех,
Науки ж, знание в презрении у всех
И где к их пагубе взнесли чело строптиво
Искусства: красть умно и угнетать учтиво,
Где беззаконно все — и мне велят молчать!
Но можно ли с душой холодной ободрять
Столичных жителей испорченные нравы?
И кто в улику им, путь указуя правый,
Не изольет свой гнев в бесхитростных стихах?
Нет! Чтоб сатирою вливать в порочных страх,
Не нужно кротких муз ждать вдохновенья с неба, —
Гнев справедливости, конечно, стоит Феба.
«Потише, — вопиют, — вотще и остроты,
И град блестящих слов пред ними сыплешь ты.
Взойди на кафедру, шуми с профессорами
И стены усыпляй моральными речами.
Там — худо ль, хорошо ль — все можно говорить».
Так, мня грехи свои насмешками прикрыть,
Смеются многие над правдою и мною,
И, с ложным мужеством под ранней сединою,
Чтоб в бога веровать, ждут лихорадки в дом,
Но бледны, трепетны, внимая дальний гром,
Скучают небесам безверными мольбами.
А в ясны дни, смеясь над бедными людями,
«Терпите, — думают, — лишь было б нам легко:
Далеко до царя, до бога высоко!»
Но я, уверен быв, что для самой Фортуны
Хоть дремлют, но не спят каратели-перуны,
От развращения спешу себя спасти.
Роскошный Вавилон, в последнее: прости!

Февраль 1819

ОТРЫВОК ИЗ КОМЕДИИ «ОПТИМИСТ»

Крутон

Но я, сударь, своим примером и ответом
Поссорю навсегда вас с жизнию и светом;
Всё без изъятия и зло, и худо в нем
Не только в нравственном, в физическом, во всем,
И мы осуждены терпеть одни мученья:
До смертного часа́ от самого рожденья
Наружным, внутренним пременам жертвой быть
И тела и души болезни преносить.
Стихии грозные враждебной нам природы
То рушат твердь земли, то воздвигают воды;
Мы сами против нас самих озлоблены;
Собратий истреблять изобрели войны,
Яд, казни, всех смертей мучения жестоки;
Нам мало бед, мы к ним прибавили пороки;
Невинность силе здесь, богатству предана;
Нет добродетели, честь в откуп отдана;
Источники забав от пресыщенья мутны.
Мы стары в двадцать лет, а в пятьдесят распутны.
Брак без любви; любовь найдете ли вы где?
Почтенье к женщинам потеряно везде.
Долги не платятся, в забвении обеты;
Благотвореньями полны одни газеты;
А прозы и стихов несносен жалкий сброд.
Все судят о вещах всегда наизворот.
И, словом, целый век мы в мире злу подвластны,
Все люди злобны в нем, и глупы, и несчастны!



Людмил

Прекрасно! Как верна картина жизни сей;
Но сходства, думаю, ты сам не видишь в ней.
Я гневу твоему не нахожу причины.
Горячность в прениях, мой друг, — довóд бессильный.
Волканы, океан нейдут к твоим словам,
Живи себе в Москве, не езди по морям.
Войны жестокости, раздоры проклинаю,
Но мира твердого наверно ожидаю.
Что многие должны, согласен я с тобой;
Зачем же верят им, гоняясь за лихвой?
Брак без любви? — Спроси жену мою об этом.
Любови нет нигде? Мне Софьюшка ответом.
Кокетки женщины? В том нет большой вины:
Они нам нравиться на свет сотворены.
Забавы ложны все? Но часто меж друзьями
Ты радости небес вкушал под небесами.
Есть жалкие стихи! Но разве Аполлон
Нам всё печатное читать скрепил закон?
Хоть редко мы цветы поэзии сбираем,
Но иногда стихи прекрасные читаем.
Системы ложные умы вскружили нам?
Все заблуждаются! — тому пример ты сам.
Смягчи свой гнев, мой друг, будь прямо
беспристрастен.
И знай, что человек ни злобен, ни несчастен.
Конечно, вижу я, как ты, как всяк другой,
Есть зло, но есть зато и благо под луной;
Я благом пользуюсь, а зло сносить стараюсь,
Но мнениям твоим и пеням удивляюсь.
Напрасны жалобы не бóльшее ли зло?
Не множь собой, мой друг, хулителей число;
Небесной мудрости познай закон священный
И верь, что создано всё к лучшему в вселенной.

1819
Стрельна

К НЕКОТОРЫМ ПОЭТАМ

О вы, сподвижники мои и образцы!
Столь многих мелочей тяжелые творцы,
Премаленьких стишков, комедий преогромных,
Идиллий, песенок, трагедий многотомных,
Что пародиями вся публика зовет —
Хоть смотрит, но труда прочесть их не берет, —
Вы, кои прихотью затейливыя музы
Поэтов стран чужих куете в русски узы,
Вы торжествуете! Вам дерзновенье — щит,
Вкус ложный царствует, талант в пыли лежит.

С непросвещенными давно ли здесь умами
Мы восхищалися Державина стихами?
Давно ль Фонвизину театр рукоплескал?
Давно ли Дмитриев гармонией пленял?
Но вам благодаря, на высотах двухолмных
Мы судим иначе поэтов многословных:
Теперь Глупениус взял верх над Княжниным
И Мевия зовут Горацием вторым.
И, словом, все жильцы пермесской колыбели
Судить самих себя архонтами засели;
В таланты жалуют, бессмертие дают;
А гениев у нас и куры не клюют!

Блаженны времена, украшенные вами,
Обильны славными ничтожества трудами.
Смотрите, радуйтесь, как в недре двух столиц
Питомцы Фебовы и девяти сестриц,

В сомнамбулическом жару летя за славой,
Поправ пятою вкус, грамматику, ум здравый,
Стремятся гению неведомой стезей
На верх Парнасских гор бестрепетной стопой
И, там собравшися ревущею ватагой,
Бутят храм памяти измаранной бумагой!

О други! сам восторг мне речь сию внушил!
Он к подражанию в меня охоту влил.
Бросаю автора застенчивость меж нами:
Я стою равными венчаться похвалами —
Подобно вам, друзья, и я пишу стихи,
Чтоб рифмою прикрыть невежества грехи.
Мы в многом разнимся, но в главном очень сходны:
И ваши, и мои творения негодны.
Лишь превращению благодаря в умах
Теперь плывете вы на полных парусах
В залив бессмертия, под флагами забвенья.
От вас жалеет мир о выдумке тисненья;
Журналы, зрители, чтецы трепещут вас...
Но дребезжащий мой слабеет хвальный глас!
Прославить может ли бесценных ряд творений
Едва из скорлупы рождающийся гений?

Но, к ободрению ревнуя чуждых дел,
Для вашего венца я лавр сыскать хотел
И тщетно пробегал долины Геликона;
Там люди самого испорченного тона:
Державин, Дмитриев, Жуковский и Крылов,
Там автор Душеньки, там Карамзин, Костров...
Давно уж вырвали не только лавры — розы,
Оставивши для вас репейник, плющ и *лозы.*

1819

ЭПИГРАММЫ

1

Как Нина хорошо скрывает
Под живописью древность лет!
Три вещи вдруг в себе одной соединяет:
Она оригинал, художник и портрет.

2

По городу молва несется,
Что тощий журналист Фома
Сошел с ума.
Что ж чудного? — Где тонко, там и рвется.

<1820>

ОБИТЕЛЬ СНА

(Подражание Овидию)

В горах Киммерии в чертог его над входом
Скала угрюмая сложилась мрачным сводом,
Где, мхом увенчанных пещер во глубине,
Беспечный дремлет сон в пустынной тишине;
И от создания огнисты Феба очи
Не позлащали стен сего владенья ночи;
Лишь с влажным сумраком сомнительный рассвет
В туманах бледное мерцание лиет.
Там петел никогда не пробуждал денницы,
И никогда лай псов и голос вещей птицы,
На Капитолия возникнувший стенах,
Не разливали там смятение и страх;
Ни коней ржание, ни вой волков от века,
Ни бранный звук трубы, ни песни человека,
Ни мимолетный ветр, свистя в ущельях скал,
Немой пустыни сей покоя не смущал.
Повсюду мертвенность; из урны молчаливой
Едва-едва журчит забвенья ток ленивый,
Скользя меж раковин по илистому дну,
Под шепот струй своих склоняется ко сну.
И маки пышные, раскинувшись грядою,
С прибрежной, сонною лобзаются волною;
Их собирает ночь и в воздух льет росой
Отрадный сок дремот, Зевеса дар благой;
Порога не хранят бессменных стражей взоры,
Не поражают слух гремящие затворы,
Но там, в тиши палат, безвестных для небес,

Под древним пологом, в тени двойных завес,
На ложе, роскошью изобретенном, лежа
И томну лень свою в зыбях пуховых нежа,
Сна молчаливый бог под маковым венцом
Век наслаждается ненарушимым сном.
Осуществленные мечтой воображенья,
Порхают вкруг него крылаты сновиденья,
И грез, как падший лист, бесчисленны рои,
Как Ливии пески, как Тибровы струи.

<1820>

⟨К РЫЛЕЕВУ⟩

Он привстал с канапе,
Он понюхал рапе,
Он по комнате вдруг зашагал,
Подошел он к бумаги стопе
И «Поэма» на ней написал.
Вот приходит Плетнев,
Он певец из певцов,
Он взглянул, он вздрогнул, он сказал:
«За возвышенный труд
Не венец тебе — кнут
Аполлон на Руси завещал».

1823 или 1824 (?)

МИХАИЛ ТВЕРСКОЙ

В темнице мрачной и глухой
Ночною позднею порой
Лампада томная мелькает
И слабым светом озаряет
В углу темницы двух мужей:
Один во цвете юных дней;
Другой, окованный цепями,
Уже покрыт был сединами.
Зачем сей старец заключен
В твоих стенах, жилище страха?
Здесь век ли кончить присужден,
Или ему готова плаха? ..
Не слышно вздохов на устах,
И в пламенных его очах
Божественный покой сияет.
То к небу взор он подымает,
То с нежной грустию глядит
На сына, полного печали,
И так в утеху говорит:

«В слезах довольно утопали
Твои глаза, друг добрый мой;
Пора расстаться мне с тобою
И Михаиловой главою
Купить отечеству покой.
Всегда будь верен правде, чести.
И, если хочешь, чтоб венец

Имел веселью твой отец,
Оставь врагов его без мести...»

На площади народ шумит
В столице хищных, злобных ханов,
России яростных тиранов;
Он с зверской радостью глядит
На труп, весь ранами покрытый.
Над ним, отчаяньем убитый,
Младой князь слезы горьки льет.
Свои власы, одежду рвет,
Татар, Узбека укоряет
И бога мести призывает...
Он внял ему, сей сильный бог,
Россиянам восстать помог
И снял с лица земли тиранов:
Их город стал жилищем вранов;
Иссохли злачные луга,
Ослабла в брани их рука,
И, пораженные слугами,
Они их сделались рабами.

<1824>

‹ЭПИГРАММА НА ЖУКОВСКОГО›

Из савана оделся он в ливрею,
На пудру променял свой лавровый венец,
С указкой втерся во дворец;
И там, пред знатными сгибая шею,
Он руку жмет камер-лакею...
Бедный певец!

1824

АЛИНЕ

Еще, еще одно лобзанье!
Как в знойный день прохлада струй,
Как мотыльку цветка дыханье,
Мне сладок милой поцелуй.
Мне сладок твой невинный лепет
И свежих уст летучий трепет,
Очей потупленных роса
И упоения зарница...
Всё, всё, души моей царица, —
В тебе и прелесть, и краса!
Какой отрадой повевает
С твоих кудрей, с твоих ланит!
Дыханье — негою поит,
От взора — сотом сердце тает,
И быстро молния любви
Течет, кипит в моей крови.
. . . .
Когда ж твой легкий стан объемлю,
Я, мнится, покидаю землю...
Оковы праха отреша,
Орлом ширяется душа!
Но целый мир светлеет раем,
Когда, восторженные, мы
Уста, и чувства, и умы
В одно лобзание сливаем!
О друг мой, если б в этот миг,
Неизъяснимый, невозвратный,
Далекий горестей земных,

Дней наших факел благодатный
Погас в пучине светлых струй
И пал за нами смертный полог, —
Чтоб был последний поцелуй
Как небо чист, как вечность долог!

1827 или 1828

АНДРЕЙ, КНЯЗЬ ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ

Повесть

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ СОЧИНИТЕЛЯ ПОВЕСТИ «АНДРЕЙ, КНЯЗЬ ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ»

Нашего полку прибыло, прибыло,
Ой, дид-ладо прибыло!

Старинная песня

В лето от сотворения мира по греческим хронографам 7335-е я, нижеподписавшийся, лежал на кровати своей, перелистывая черепословную систему доктора Галля, развитую Спурцгеймом, и очень досадуя на природу, что она не выставила нумеров на мозговых моих органах, для легчайшего приискa. Щупая и перещупывая, однако ж, все выпуклости на кивоте моего гения, весьма был я изумлен, когда указательный мой перст встретил на нем шишку воображения и потом пирамиду сравнения, двух несомненных спутников Поэзии. Черт меня возьми! — вскричал я тогда (грешный человек, это мое любимое восклицание), — мудрено ль, что у меня издавна чесались руки на стихотворство, когда сама природа предназначила меня быть поэтом! И как до сих пор не последовал я своему призванию? .. Не говорил ли мне немец, сапожник и эстетик вместе, что в ногах моих есть что-то поэтическое! Не пожаловала ли меня в русского Парни полдюжина приятелей, с которыми осушил я две дюжины шампанского! Не назвали ли меня две премилые дамы поэтом за то, что в альбомах я поставил их, кажется, двумя градусами выше всех

языческих богинь! А собственное сознание, Мм. Гг., разве копейка? Я с младенчества чувствовал, что во мне шевелится эксцентрическое сердце, и если под розгами не плакал гекзаметрами, подобно славному латинскому поэту, зато ранее мог отличить ямб от хорея, чем винительный падеж от предложного. Притом же два доктора, съевшие на черепах зубы, должны знать свое дело, и мадам природа, верно, не так неучтива, чтобы избрать мою голову для забавного исключения. Решено и подписано: я поэт; поэт назло судьбе!

Нечего и сомневаться, что по духу времени и вкусу я был романтик до конца ногтей. Нечего и сказывать, что я хотел первую попытку свою вылить в историческую форму. Недоставало мне только героя, а герои в наш героический век от стечения их на базар славы стали так редки, что сам Байрон перечел сотни две имен, не зацепясь ни за одно. Надобно было просевать пепел русской старины, а, на беду, я жил тогда в чужой земле, без русских книг, даже без русских знакомцев. Перерывая в сумке памяти (которой крепостию не могу похвалиться), попался мне Андрей, князь Переяславский, проименованный *Добрым:* его-то избрал я козлом-грехоносцем; на него-то навьючил все грехи своего поэтического Израиля, все ошибки воспоминания. Раз, два — и повесть, носящая на себе это имя, вылезла из головы моей до половины, как Минерва из головы Юпитера, в заржавой старинной кольчуге, только в недошитом кафтане и с носом-недорослем, который злая судьба грозилась уже ему приставить без моего содействия. Господа стихотворцы знают, как пишутся нынешние поэмы, и потому не для чего мне распространяться, как я бросал мысли за недочетом рифм или рифмы за неявкою мыслей: из десяти начатых картин едва ли две доходили до половины, и я было хотел, по вольности словесного цеха, сшивать окончания белыми стихами, как белыми нитками. Одиночество удивительно как надувает самолюбие: сам пишешь, сам себя похваливаешь. Сперва смиренно говоришь: «Кажется, это недурно!» Потом *кажется* превращается в *точно*, и точно в *несомненно.* Некому оспорить, покритиковать, исправить. Скоро, однако же, простыл творческий жар мой: я устал прыгать по-стрекозиному от предмета к предмету, не имея терпения склеивать их гладко. Два месяца потом мое разбросанное сочинение ка-

залось мне прекрасным; еще через два хорошим, там изрядным, и через полгода я нашел его только-только что сносным. Лица в нем были замысловаты не по своему веку, речи пышны не по людям; одним словом: я обул в русские лапти немецкую философию. Это сознание, соединенное с божественною ленью, по которой я сам могу метить в полубоги, было виной, что князь мой остался о двух головах, хотя я предполагал его сделать, как змея-горынича, шестиглавым. Не то чтоб я отрицал в этой повести все достоинства: в ней есть свежие картины, удачные сравнения, звонкие стихи, нигде не заимствованные мысли; смею сказать, что, если б я продолжал ее, остальные главы, возвышаясь занимательностию, могли бы искупить недостатки предыдущих; но все-таки я убедился, что в ней не было бы этой купности, этого целого, знаменующего физиогномию гениальных произведений, и бросил поприще, на котором не льстился опередить многих. Для себя, собственно, я не навсегда отказался от прелестной болтуньи поэзии, которая дарила меня столь сладостными часами забвения страданий; но теперь я удовольствуюсь одними прогулками, а не дальними путешествиями с нею. Итак, Мм. Гг., несмотря на свою поэтическую звезду, на свои призвательные шишки на черепе, под № 16 и 30-м (зри «Френологию»), даже несмотря на уверенность, что я с большою легкостью могу писать так же вздорно, как другие, я отказался от бумажного венка поэта. Очень бы рад был, если бы моя исповедь послужила уроком для многих молодых стихотворцев.

Впоследствии, пересекая Россию, чтобы отправиться в одну из дальних ее провинций, я отдал одной душевно уважаемой мною знакомой даме единственную черновую тетрадь, в которой заключались две главы «Андрея Переяславского» и некоторые отрывки следующих, как обломок вавилонского столпа, на котором хотел я спастись от потопа забвения, как летучий след моей пролетной метромании.

Вот в одно прекрасное утро в 1828 году приносят ко мне «Московские ведомости», и что же? Между продажными пустопорожними местами, поезженными дормезами и прачками, которые умеют шить и гладить, и проч. и проч., отпускаемыми в услужение, начитываю, что мой бескорыстный «Андрей Переяславский» напечатан и по-

ступил в продажу! Если справедливо выражение, что люди падают с облаков от изумленья, так это был я. Вообразите себе лунатика, пробудившегося посреди полного партера в халате и колпаке, и вы еще будете иметь не совершенную идею об авторе, которого в таком неприборном виде вывели в публику! Никогда не приходила мне мысль, даже в самом пылу стихотворной горячки, печатать неконченную пьесу, не только едва набросанную главу ее. Дон-Жуан не указ для тех, кто не рожден с гением Байрона, и, по пословице: «Первый кус — разбойник», я знал, что завтрак портит вкусные обеды. Какова же была моя досада, увидев себя так напечатанным! Я хотел писать отрицание, ссориться с издателем, бесновался, как шаман, но до почтового дня уходился, притих и размыслил, что публика, наверно, пропустит без внимания пьесу, написанную без связи, следственно, забвение постигнет ее так же хорошо в книжном амбаре, как и в чемодане моем. Дело вышло, однако ж, не совсем по-моему. Г-да журналисты вытянули ее на миг из Леты своими вопросительными удочками: один сказал, что повесть эта грешит надмерною отделкою стихов, другой, что они слишком небрежны, но никто не заметил важного промаха моей памяти, что я, бог весть за какую вину, сослал Андрея, князя наднепровского Переяславля, под Карпатские горы, на Дунай. Не желая накликать на себя большой грозы, я притаился, и, благодаря всё умиряющему совестному судье, времени, повесть моя, критика на нее и рецензия на критику — всё кануло в воду.

Вдруг, ровно через три года явилась 2-я глава моего «Андрея» в 41-м № журнала «Галатеи» с повесткою, что она продается и особо; явилась, и, признаться сказать, еще неумытее старшей сестрицы своей. Вельми изукрашена была первая пропусками, описками, недописками, ошибками самородными и привитыми корректором; но вторая далеко оставила ее за собой: она, по словам Вальтер Скотта, представилась в «самом удивительном беспорядке». Я думаю, крепко ахали разногласные отрывки и параграфы, когда мощная рука переплетчика свела их на очную ставку! Во многих местах недоставало целых страниц, в других не вписано поправленных или вычеркнутых стихов, полустиший, тирад; да кроме того, рука моя так походит на гусарскую цифровку, что не мудрено было пере-

иначить смысл ошибками, и надо признаться, что их куча, и презабавных для всех, кроме автора.[1]

Публика, не ведающая ни отношений, ни намерений сочинителя, была в полном праве ожидать, что он, после трехлетнего молчания, вероятно посвященного отделке, попотчует ее чем-нибудь совершеннейшим первого образчика; что рассказ его будет плавнее, действие живее, поэзия блистательнее, — и увидела вместо того какой-то сон Жан-Поля, с намеками, связанными бусами точек, многозначащих и ничего не стоящих! .. Она не может не осуждать автора за такую небрежность; но, со своей стороны, невинный в этом автор, т. е. я, не делавший никого своим душеприказчиком, объяснив происхождение «Андрея Переяславского», считаю долгом *объявить* почтенным читателям, которые были завлечены на чтение оного любопытством и покинули его от нетерпения, что повесть сия напечатана *не только без моего ведома, но против моей воли.* В отношении же к неизвестному даже мне Издателю 1-й главы и приславшему к Г-ну Раичу 2-ю, я *сожалею, если это нескромность, и негодую, если спекуляция.*

А. Б.

Дагестан
Январь, 1831

Действие происходит вблизи надунайского Переяславля или в самом городе и занимает пять дней времени.
Происшествия каждого дня составляют главу.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Путъ

Как взор любви или обеты славы,
Пленительна святая старина,
Прапрадедов деянья величавы,
И тихий быт, и грозная война!
Призыв ее чарующий внимая,
Душа гулит, как арфа золотая!

---

[1] Например, возьмем последний параграф, когда Любомиру во всем слышатся ужасы, то вместо: «и тяжек стон коростеля» — напечатано: «и тяжек сон коростеля». Желаю знать, какой смысл находил тут издатель? Многие наблюдали мечтания спящих собак, но никто еще не проник в тайны грез птичьих; да если б и было так, я всё еще не понимаю, почему эти грезы могут казаться тяжкими.

Минувшее встекает предо мной,
Объятым наяву мечтой дремотной:
Богатыри медлительной стопой
Мимо идут в осанке беззаботной.
Я знаю вас, питомцы древних лет!
На вас горит бытописаний след.

Не раз меня мечта моя носила
В край Галича, на ро́скошный Дунай...
Святслава честь и царство Даниила —
О, северным мечом добытый край! —
В полях твоих мне чудилися деды,
Их браней гул и шумные победы,
Но впили кровь и славу их поля,
Их доблести развеяла чужбина;
И, русского хвалой не веселя,
Родных певцов безмолвствует дружина!
Но луч упал, раздался рокот струн —
Как по́ небу далекому перун!..

1

Пылая зноем, полдень сонный
Лежал над Русию Червонной.
Прильнула тень к подножью скал
Уединенного Карпата;
На речке лебедь задремал,
Несом волной живого злата,
И под огнем полдневных стрел
Путь византийский опустел.
Склоняясь влево над потоком
С нагория к Дунаю, он
Идет в величьи одиноком
От дальних Киева сторон.
Но что за путник над курганом,
Склонясь на боевой топор,
Плечо под буркою с колчаном,
На тихий путь наводит взор?
Кто сей другой... <*нрзб.*>
К земле приникнув головою?
Быть может, обоих ловцов
Поутру выманила травля

Из ближних стен Переяславля?
Но с ними нет ни соколов,
Ни ловчих псов; их дики взгляды,
На них не русские наряды,
В полукафтаньях до колен,
В зеленых туфлях, в шапках черных,
И сабли кочевых племен,
Ножи на поясах наборных...
То цвет разбоя и войны,
То грозных половцев сыны.

2

Первый половец

Что, видно ль?

Второй половец

Никого не видно...
Спокойна по дороге пыль,
И не шелохнется ковыль,
Всё спит.

Первый

Досадно и обидно;
Мы даром более трех дней
Отлучены своих степей
И милых таборов. Не я ли
Тебе предсказывал, Топаз,
Что в этой незнакомой дали
Добыча трудная для нас;
В охрану путников чужбины,
Славян и Греции гостей,
Дает воителей дружины
Князь Переяславский Андрей.
Не лучше ль, знамена любые
Избрав, с толпою красных жен
Катить палатки боевые
За Днепр или за тихий Дон?

Второй

Где ж видел ты орлов дубравы
К добыче стаями полет?

Да и на Русь открыт нам след
Не для добычи, а для славы:
Затем, что к золоту ключи
У ней — двуострые мечи.
Нам дорог стал в глуши бесследной
С детьми Олега бой победный!
Из них отважнейший Всевлад,
Засев на киевском престоле,
С князьями, с нами драться рад
И в городах, и в чистом поле.
А Поволóжья стороны
В обиду половцам едва ли
Князь-Володимира сыны
Дадут; мы это испытали
В несчастьи Глебовской войны.
Здесь то ли дело! Край обильный,
Народ ленив, народ богат,
И по дороге вечно пыльной
Гостей и денег перекат.
Поверь, Кончак, пора наступит:
Мы отобьем, что слабый купит.

8

Кончак

Надежды — в небе журавли,
Я их сменяю на синицу;
Мне гор жемчужных не сули,
А только в руки дай златницу.

Топаз

Терпенье в грабеже, в бою
Нужней отваги молодецкой;
Я первый раз не узнаю
В тебе привычки половецкой!
Ужели, в гриднице княжой
Полгода выслужа из неги,
Ты скучил волей кочевой,
Ты разлюбил свои набеги?
И степь раздольную сменил
На душность города могил?

Кончак

Топаз! Сомнение напрасно!
На древней русской стороне
Всего довольно, всё прекрасно,
Да не по сердцу что-то мне.
На их пиры, на их моленья,
Дивясь причудам, я глядел,
И разгадать я не умел
У них к разбойникам презренья.

Топа́з

Позора этого вина —
Ленивых душ пустые толки.
Зачем же ко́ней режут волки?
Зачем же беркут бьет овна?
Зачем всему владыка — сила,
И только воля ей закон?
Пускай нам платят Днепр и Дон,
Когда нас брань усыновила!

Кончак

У них один грабеж — война.

Топаз

Глупцы! Как будто знамена
Их совесть с правдой освежают!
Не те ль опасности и кровь,
Не та ли ж к выгоде любовь —
Разбой и битвы украшают?
Когда же выпадет и нам
Вернуться к родовым шатрам
С добычей золота богатой, —
Сберется любопытный стан
Вкруг нашей кровли полосатой,
Сам на поклон приедет хан. . .
И загремят веселья чаши
Хвалу счастливым удальцам,
И гордо станут девы наши
Добро показывать гостям:
Ковры, блестящие монисты,
Насечку дивную броней,

Сафьян и черных соболей,
И узорочья серебристы!..
Кто спросит, где они взяты?
Арканами иль на щиты?..

4

Воображением носимый,
Предвидит половец возврат,
Приветливость семьи родимой
И лепетанье половчат.
Жены любезной клик он внемлет,
Ее дарит, ее объемлет;
Малютка, сын его, кругом
На сабле прядает верхом,
В нем тает сердце ретивое,
Течет поток неслышных слез...
Очнулся он... Дремал утес,
И всё окрестное в покое.

Топаз

Чу! звон копыт! Вставай, Кончак!
Нам будет выгодное дело,
Готовь разрывчатый сайдак.
Ты видишь: русский едет смело!

Кончак

Как жар под золотом броня,
Как мак расцвел шелом хвостатый;
Один убор его коня
Нам будет славною заплатой.

Топаз

Не позабудь и крепость плеч,
Не позабудь булатный меч!

Кончак

Клянусь мечом, домой поскачет
Не празден удалой бегун!
Или жена меня оплачет
И волк разгонит мой табун!

Топаз

Метнем-ка жеребий: не мне ли
И первый бой, и главный пай?
Смотри: златницы полетели,
Падут. . . упали. выбирай:
Лицом копье или решетка?

Кончак

Постой. . . решетка.

Топаз

Угадал,
Перед тобой твоя находка!

Кончак

Дождался я чего желал.

Топаз

Знай, если путник на долине
Не отдохнет в полдневный жар,
Мы из-за камня в той стремнине
Внезапный совершим удар.
Пора! . .

Исчезли. Высь кургана,
Пустая днем, озарена;
Незыблемы верхи бурьяна,
По холмам сон и тишина, —
И мнилось, древняя могила
Сынов разбоя поглотила.

5

И вот, где Лебедем-рекой
Охвачен круто лес дубовый,
Съезжает витязь молодой
И бросил повода шелковы,
Пленен пустынною красой.
Хребта Карпатского вершины
Пронзали синеву небес,

И оперял дремучий лес
Его зубчатые стремнины.
Обложен степенями гор,
Расцвел узорчатый ковер,
Развитый по низу долины;
И вдаль, прелестен, одинок,
Змеился Лебедя поток;
В него плакучие березы
Роняли утренние слезы,
И под наклон младых ракит,
Под сенолиственные ивы
Поток задумчивый катит
Невидимо струи ленивы;
То померкая, то порой
Лучом изменчивым сверкая,
Он, точно лента голубая,
Подернут битью золотой,
И яр песок по оба края
Лежит перловой бахромой.

6

И грустно видит сей воитель:
С холма отшельников обитель
В струях глядится; но она
Разрушена, попалена
И опустела от набегов
Неукротимых печенегов.
Вот с утомленного коня
Спрянул, кольчугою звеня;
Копье, и щит, и меч тяжелый
Слагает на луку седла.

Кругом бредучею стопою
Развалины обходит он;
Их дикий плющ со всех сторон
Облек узорной пеленою,
И сводов гордое чело
Травой и мохом поросло.
Везде видна печать пожара,
Везде река его текла,

Здесь токи меди и стекла,
Там своды треснули от жара,
Глав нет; к отверстым небесам,
Как благовонное кадило,
Шиповник льет свой фимиам,
И веет ветер легкокрылый
По онемевшим алтарям, —
И там, где благовест моленья
Будил далекие селенья,
Всё тихо, благодатный гул
Навек в развалинах уснул.

7

Вступает витязь на кладбище,
Усопших братий пепелище;
Объят неведомой тоской,
Он сел на камень гробовой,
Повел задумчивые взгляды
Вдоль полурухнувшей ограды,
И так, опершися на меч,
С самим собой заводит речь:
«О время, ангел истребленья
Деяний, зданий старины!
Хоронишь ты в степи забвенья
Великих мира и войны;
И лишь случайно, лишь украдкой
Одно из тысячи имен,
Обломок на пути времен,
Покрытый басенной догадкой,
Векует метою племен.
Как звон трубы, стихает слава,
Как башня, падает держава,
И я. . .» Домолвить он не мог,
Волнует грудь зловещий вздох,
Упали долу взоры ясны;
И видит он, в траве, в пыли,
Забытый череп на земли,
И обновленья сын прекрасный,
Небес летающий цветок,
Над ним порхает мотылек! . .

8

Как путнику по ночи хладной
Сквозь полог дожденосных туч
Блистает первый солнца луч,
Даря надеждою отрадной, —
Так, убежденьем озарен,
В душе своей мечтает он:
«На свете нет уничтоженья;
Везде истления звено
Рукой святого провиденья
С перерожденьем сцеплено!
В цвету, конечно, тлен таится,
Но в тленных зернах спеет плод,
И небо ро́су им лиет;
И жизнь, и смерть потоком вод
На лоно вечности катится.
Упали стены — грозный след
Людей и времени побед;
Промчалось гибельное пламя
По сводам тихого жилья. . .
Но веет обновленья знамя
Над ними веткой былия,
И, корнем плиту разрывая,
Взбегает ясень молодая. . .

9

Так рано ль, поздно ли с коня
Сорвет кончина и меня;
В сосновые оденет латы,
В могильный уберет шелом
И подземельные палаты
Задвинет каменным щитом,
И слава имени Романа,
Как с дальних гор венец тумана,
Растает, высохнет росой! . .
Но, как на башне дуб зеленый,
Как цвет над мертвой головой,
Я расцвету, и славы бренной
Покинуть прах не захочу;
Подобно чистому лучу,
Купаясь в наслажденьях новых,

На ясных крыльях мотыльковых
Прочь улетит душа моя
В семинебесные края!»
Встал витязь, хладною струею
Лицо горящее омыл;
Потом заботливой рукою
Коня из шлема напоил;
Уздечку снял, и конь на воле
Муравку щиплет в чистом поле.
И вот, склонясь перед мечом,
Творит обычные молитвы.
И сладостно вкусил потом
Добычу утренней ловитвы;
И на роскошную траву
В тени черемхи благовонной
Отягощенную главу
Склонил воитель утомленный. . .
И на нее слетают сны
Под шум ключей, под стук желны.

10

Проснись! Убийца над тобой
Неслышной медяницей вьется,
Сверкает сталью роковой! . .

Кончак

Он крепко спит!

Топаз

И не проснется!
Однако ты, храня доспех,
Руби по шее обнаженной:
Ценней и соболиный мех,
Нигде стрелами не пронзенный.
Не промахнись, товарищ мой,
На похвальбу родному краю;
А я поспешною рукой
Коня боярского поймаю!

Вскипело сердце Кончака:
Он, блеском золота плененный,

Подобно волку, в два прыжка
Достигнул жертвы усыпленной.

11

А, между тем, в зловещем сне
Роман несется на коне
В одежде легкой зверолова:
Один в заповедных лугах
Он травит буйвола княжова;
Уходит зверь в его глазах
И, по следам напрасно лая,
Отстала выжлица лихая...
Но всё быстрей, вперед, вперед,
Охотник смелый наддает,
И в лес под Киевом дремучий
Усталый вол его ведет
Сквозь мрак елей, сквозь терн колючий...
И мыслит он: «Ты мой теперь!»
Уж поразить буй-тура хочет...
Вдруг стал освирепелый зверь,
Ревет, о камень роги точит,
С ноздрей огнистый пар летит,
И пыль столбом из-под копыт,
И эхо по лесу грохочет...
Сразились — смерть невдалеке;
Споткнулся конь — булат в руке,
В груди стенанье замирает, —
И злобно падшего врага
Подъемлет буйвол на рога
И к небу яростно кидает!
Летит, летит...

12

И новый сон
Его на крылья принимает:
Свои дружины видит он.
Под занавесой ночи темной
Каких-то гор синеет высь;
О стяг отечества огромный

Стоит он грустно опершись;
И, с тихой песнию прощальной,
Копьем добытое добро,
Младые воины печально
Колчаном делят серебро.
И близ него, перед шатрами,
Любитель браней и забав,
Ликует с смелыми вождями
Князь Новагóрода Мстислав;
Друзья Романа, как чужие,
Сидят, не изменив лица,
И меду чаши круговые
Обносят мимо пришлеца.
Но вот с насмешливой улыбкой
Мстислав, бледнея, восстает
И витязю рукою зыбкой
Заздравный кубок подает.
«Пей! — молвит он, — за дружбу нашу,
За неизменную любовь!
За брата Всеволода вновь!»
Роман взглянул в златую чашу,
В ней кровь кипит, а не вино.
Вдруг гром ударил сквозь тумана
В чернозлатóе знаменó,
И с треском рухнуло оно
На изумленного Романа!
По холмам грянул грозный клик,
Как воет бор, как плещет море,
Дружины вопят: «Горе! горе!»

13

Роман испуганный возник,
Опасность видит и с размаха
Навстречу кинулся без страха.
Схватились — прочь летит топор;
Плечо в плечо, нога с ногою,
Как два потока вешних гор,
Они сливаются борьбою.
Меж тем, покинув бегуна,
Спешит Топаз на бой неравный;
Уже стрела наведена,

Грозя погибелью бесславной. . .
Прочь, витязь! иль тройную сталь
Она сломает, как хрусталь!
Внимай! рога у лука взвыли,
Ударом тетива звучит,
Стрела пернатая свистит. . .
Кому-то пасть судьбы судили? . .
Падет, падут, как град в грозу:
Вверху Роман, Кончак внизу.
Стрела на ветре изменила
Неотразимый свой полет
И в грудь собрату угодила;
Топаз пустился на уход.
Меж тем, избавленный ошибкой,
Над умирающим склонен,
Внимает с мрачною улыбкой
Разбойника тяжелый стон.
И в сердце жалость проникает,
Он хочет павшему помочь. . .
Напрасно! Взор его смыкает
Нерассветающая ночь. . .
Долину витязь покидает.

14



15

Всходила туча громовая
Над тихой Галича страной,
И закипел поток Дуная
Под Переяславской стеной.
Как бранный щит, в крови омытый,
Запало в тень светило дня,
И одичалые граниты
Вдали сверкают без огня.
Олень, испуган крыльев шумом,
Прянул с перуновой скалы,
И на челе ее угрюмом
Слетелись горные орлы;
Бушует бор, ущелье воет,

И вихорь цепь Карпата роет,
И гром катится вдалеке.
Но вот ярящимся Дунаем,
То видим, то опять скрываем,
Ловец плывет на челноке.
Белеет парус одинокий,
Как лебединое крыло,
И грустен путник ясноокий;
У ног колчан, в руке весло.
Но, с беззаботною улыбкой,
Летучей пеной орошен,
Бестрепетно во влаге зыбкой
Порывом бури мчится он,
И внемлет прибереги окольный
Напевам песни произвольной:

16

Песня

Покатись, попутный вал,
Заиграй, мое ветрило:
Я на ловле опоздал,
Не увижу Лады милой.

Стонет сизая волна
На раздолии широком:
Видно, милая грустна
В пышном тереме высоком!

Воздух, бурею дыша,
Носит капли дождевые:
Знать, поплакала душа,
Знать, журят ее родные!

Только выйди на лужок
Мыться утренней росою;
Упаду, как голубок,
Перед девицей-красою!

Улетит любви гроза
С неба радостных свиданий,
И с ланит сойдет слеза
От пленительных лобзаний!

Счастья выглянет цветок. . .
Вал, играй, лети, челнок!

17

Безумный! Черпает ладья.
Пловец! ру́би свое ветрило:
Пусть колыбель тебе — ладья,
Но бездна может быть могилой.
Скорей! . . Уж поздно — заплескал
Над челном белогривый вал. . .
Прости, веселие столицы,
Любовь родных, друзей мечты
И Лады светлые зеницы!
Еще простите! . . Гибнешь ты!
В тумане город, брег далеко.
<*Нрзб.*> гаснет око.
Он <*нрзб.*> . . . . . .

Летит ездок во весь опор.
Достигнув берега Дуная,
Презрев утесистую круть,
Коня уздою понуждая,
Он скачет в глубину прянуть.
Вотще! уперся конь ретивый,
Храпит, крутится на дыбы,
Но дерзок витязь — несчастливой
Не миновать ему судьбы;
Ездок все силы напрягает,
Стремит — и, снова поскакав,
С утеса падает стремглав
И шумно в брызгах исчезает.

18

Где? где? потоком унесен,
Возник он, бронею сверкая,
И вдаль плывет на тихий стон,
Со шлема влагу отрясая;
Перун окрестность озарил.
Он там, он юношу схватил

И вспять! Под ношею двойною
Погрузнув, добрый конь хрипит,
Валы ревут над головою,
Вода в ушах его журчит;
Над ним летают смертны тени, —
Не ведал витязь удалой,
Тебя стремя́ в пылу сражений
Неотразимою стрелой,
Не мнил, чтоб влажная могила
Твой быстрый бег укоротила.
Спасайся, витязь! Нет коня,
Грузна кольчатая броня.
Покинь ловца на божью волю,
Тебе с ним к брегу не доплыть! . .
Но нет! Ты хочешь разделить,
А не оплакать злую долю.
Обняв утопшего, пловец
Гребет в усилии усталом;
И, тяготея, как свинец,
По нем катится вал за валом;
Уж цепенеющая грудь
Едва взрывает пенный путь;
Напрасно дланью бесполезной
Раздвинуть хочет он волну,
Он, поглощаем алчной бездной,
Готов погрузнуть в глубину;
Но берег близко. . . В лоне тучи
Проторгся молнии поток,
И мутный вал, как змей шипучий,
Изверг обоих на песок;
Там, полумертвы, утомленны,
Лежат спаситель и спасенный.

19

Но вот по берегу спешит
Боярин, где-то запоздалый,
Его заботлив грозный вид,
Белеет пеной конь усталый,
И, шапку приподняв рукой,
С ним рядом скачет стремянной,
В лицо им, градом поражая,

Вихрь опашни сдувает с плеч,
Но всадники, не замечая,
Между собою держат речь:

Боярин

Благодарю за добры вести,
Наш заговор идет на лад:
Что Любомир свершит из мести,
Оллай за деньги сделать рад.
Но что поет медлитель вечный
На это Ян, племянник мой?

Стремянной

Он шлет к тебе поклон сердечный
И тайный подвиг роковой
Желал бы разделить с тобой...

Боярин

Да не желает? Всё возможно
Тому, кто дерзостен неложно.

Стремянной

Что будто ратники его
Далеко разбрелись по краю;
Что он на князя своего
И сам бы прямо по Дунаю
К тебе душою прилетел...

Боярин

Слова без дел — что лук без стрел!
Не души, а мечи нам нужны.
Ничтожный трус! Но почему
Ты не открыл союз окружный
В словах заманчивых ему?
Наш круг велик, друзья надежны,
К нам шайки половцев идут,
И польские паны вельможны
Охотно руки подают.
И ждет блестящая награда
Бояр — сторонников Всевлада;
Он сам с полками киевлян
Обляжет город, как туман;

Андрей падет, получит снова
Сан тысяцкого Любомир;
И власть друзьям моим готова,
И шумный пир на целый мир.

Стремянной

Я говорил ему всё это;
Но сердце, замкнутое льдом,
Надеждою не разогрето.
Советует, любя свой дом...

Боярин

Не дом мой, клеть свою он любит;
Но я советов не люблю;
Пусть только Всеволод затрубит,
Племянничка повеселю;
Кто не подаст мне длани братней,
Не уцелеет в голубятне!
Я — враг приятелям таким!

20

Стремянной

Всего сильней его пугает,
Что князь гражданами любим.

Боярин

Трус и во сне беду встречает!
Зачем таким людя́м дано
Копье, а не веретено?
Ужель не ведает причины
Моих надежд племянник мой?
Скучают смелые дружины
Миролюбивостью княжой.
Им нет бывалого раздолья
От поселян и от наполья;
В беде их не любовь страшна;
Любовь народа не сильна:
Народ на воздух речи тратит,
Но вечно стерпит, всё заплатит,
Надеждой перемены сыт.
Но Ян пугливее синицы,
Когда военной славы щит

Сменял на блюдо чечевицы!
Нет проку смелому в родне,
И коловратная судьбина,
Как будто насмехаясь, мне
Такого ж даровала сына:
Он любит жить по старине,
О девах петь, звучать струною,
А не наездной тетивою;
Ему чужая — месть моя,
Он князя любит, князем дышит,
Ему он вторит, им он слышит!
От сына утаился я.
Он на коне узнать успеет,
Когда гроза вполне созреет;
Она ж близка, ее зову
К себе в мечтах и наяву.
Внимай! Чуть месяц златорогой
Потонет в небе голубом,
Непротоœренною дорогой,
Где стременем, где колесом,
Ты оскачи друзей кругом,
Скажи им вестовое слово:
«Мечом померяться пора:
В Переяславле всё готово
На праздник Павла и Петра!»
Тогда с рассеянной дружиной
Пускай они со всех сторон
На пир стекутся именинный
Младому князю на поклон.
И в сердце радостного града,
В кругу пирующих гостей
Сверкнет булат, гроза вождей,
С нежданным кликом: «За Всевлада!»
И кровь, и пламя, и набат
Паденье князя возвестят!

21

Утихло. Мутные потоки
Шумят, промоины браздя;
Благоухая, лес далекий
Слезится каплями дождя.

Лилеи в красоте обновки
И скромные *«не тронь меня»*
Подъемлют свежие головки.
Вдруг путник осадил коня. . .
«То не мечта ль воображенья,
Или очей моих обман?
Передо мной, как привиденья,
Две тени сквозь ночной туман
Текут неверною стопою. . .
Один в броне; к его плечу
Другой поникнул головою!
Я с ними сведаться хочу
Иль по кресту, иль по мечу!»
Домчалися тропой знакомой.
Им в очи Любомир глядит...
И кто же витязем ведомый?
То сын его, то — Световид!
Но прежде пышные ланиты
Завесой бледности покрыты,
И с золотых его кудрей
Вода сбегает, как ручей!

22

Как сына милого утешно,
Как нежно в радости своей
Лобзает Любомир поспешный,
И вдруг, чувствительность сокрыв,
Чело в суровость облекает;
Любви отеческой порыв
На кроткий выговор меняет;
Но льются плавною рекой
Спасителю благодаренья.
Склонился воин молодой
На искренние предложенья,
И весело они втроем
Спешат в гостеприимный дом.
Сверкают им сквозь сумрак парный
Церквей злаченые кресты,
И озаряет луч янтарный
Переяславля высоты,

И вот стена его за ними.
Внимая лаю чутких псов,
Они проулками пустыми
Текут посереди садов.
Уже вблизи на дом красивый
Лучина яркой свет лиет
И у решетчатых ворот
Мать нежная нетерпеливо
Избавленного сына ждет —
И вот на грудь свою прияла
Надежду, свет ее очей.
И, восхищенная, взрыдала,
Забыв приветствовать гостей.
И над покорною главою
Отрадной, сладостной рекою
Струи чистейших слез текли. .
О радости невинной слезы!
Вы — перлы на земной пыли,
Венок росы на почках розы,
Поминка неба на земли
С тех пор, как ангельская сила
Звездой падучей с высоты
На землю юную сходила
По зову тленной красоты!

28

Они ступенями резными
Идут на красное крыльцо;
Приветом брякнуло кольцо,
И набожно перед святыми
Творят поклоны пришлецы.
Блестя каменьями цветными,
По образам горят венцы
Среброчеканного оклада;
И бледным теплится лучом
Неугасимая лампада,
Как месяц на небе ночном.
Вкруг стен широкие беседы
Хрущатой обвиты камкой
И по коврам висят грядой

Доспехи ловли и победы,
Уборы дикой красоты:
Мечи, багряные щиты,
И самострелы, и колчаны;
Там блещет боевой топор,
Там шестоперы и чеканы,
Там витязя дивит узор
По шлему золотой насечки,
То многоценные уздечки,
То сбруи жемчугом набор.

21

Меж тем, для гостя дорогова,
Храня обычай старины,
Уж баня пышная готова;
Ковры стезей разостланы. . .
И распахнулась дверь тесова.
Уже, приветливо журча,
В дыму, алмазами сверкая,
В чан кипарисный два ключа
Падут, и жар, и хлад сливая.
На каменку шипучий мед
Волной обильною течет,
И дышит с камней млечной тучей
Пар, благовонный и летучий,
Венцом объемля огонек.
И вот, увлаженный парами,
На негу томную полок
Манит душистыми травами;
Березы ветви сладкий зной,
Как опахалом, навевают,
Все члены, льстимые рукой,
В благоуханной пене тают.
Он сходит вниз, огнем горя;
Из чаши бронзовой отрадно
Течет на грудь богатыря
Река воды струеею хладной,
И путник свеж выходит вон,
Как месяц, морем возрожден.

25

Опять он в горнице красивой;
Ему лилейною рукой
Сенная девушка стыдливо
Подносит гребень золотой.
За ней идет хозяйка дома
В жемчужной кике, в ферезях,
В лице ее видна истома,
Но доброта в ее очах,
Любовь ко сыну, к мужу страх.
Смиренно кланяясь, подходит
К Роману с чарою вина,
Откушать просит и заводит
Слова приветные она:
«Поведай, волей иль неволей,
Иль молодецкою охотой,
Иль буйным ветром занесен
В Переяславль с каких сторон?
Кто ангел твой? Кто твой родитель?
Да знаем гостя величать,
Да возмогу тебя, воитель,
В своих молитвах поминать!»
Роман ответствует ретиво:
«Прости, боярыня, меня,
Что отложу ответ правдивый
О том до будущего дня.
Сказать, кто я, — теперь не смею,
Лгать не могу и не умею!»

26

Склонив к супруге мрачный взор,
Боярин входит в разговор:
«Храни, о витязь! имя тайно:
Какое дело ведать мне,
С намереньем или случайно
Ты стал на нашей стороне;
Мой гость — мой брат; ему обида —
Обида мне; но ты один,
Младой хранитель Световида,
Здесь полномочный властелин.

Под тенью крова Любомира,
Как под щитом своих дружин,
Ты невредим от злобы мира,
Хотя бы, гневом распалясь,
Тебя преследовал сам князь.
Дай руку мне, приятель новый;
Вот хлеб и соль, чем бог послал».
Богато убран стол дубовый,
И брызжет дедовский бокал.
Уж беззаветными речами
Сердца отверсты; мед кипит,
И неразлучными друзьями
Встают Роман и Световид.
И гостю на медвежьей коже
Походное готовят ложе.
Но между тем певец младой
За гусли звонкие садится,
И звук под легкою рукой
За перекатами струится
Звучней, звучней, и с ними в лад
Стихи небрежные звучат.

27

«Успокойся, путник юный,
Ты разбит и утомлен;
На тебя златые струны
Назвенят глубокий сон.

И, приникнув к изголовью,
Сновидений красота
Обоймет тебя с любовью
Тихокрылая мечта.

Чаровница за собою
Уманит и уведет:
Ступишь легкою стопою
На ковер на самолет.

И заветною долиной
Вдаль за тридевять земель
С быстротою соколиной
Упорхнет душа отсель.

Вкусит витязь черноокой
На брегу родимых струй
От красавицы жестокой
Полуданный поцелуй!

Иль, внося победу в сечу,
Выторгнет твоя рука
Знамя, гибели предтечу,
Из железного полка!»

Звон гуслей тихо замирает,
Как будто летний ветерок,
Плененный розою, вздыхает;
Как будто ропотный поток
Брега жемчужные лобзает.
Задернут полог кружевной
Гостеприимною рукой.
Как льется мгла росою ночи
На жаждущий от зноя мак,
Дремота канула на очи
Усталого пришельца. Так
Он, светлой совестью хранимый,
Вкушает сон невозмутимый.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Охота

Бывало, чуть ранней зарею востока
Зарумянится вод переливный хрусталь
И сокрытый в лоза́х над струями потока
Соловей огласит поднебесную даль,
С соколом на руке молодые бояра
Иль со сворой борзых при златом стремене
В ловитве носилися, полные жара,
По долам, по горам, на могучем коне.
В палаты княжи́е сквозь занавес алый
Чуть яркое солнце казало лицо,
Восстав ото сна, князь удельный, бывало,
С дружиною гридней ступал на крыльцо;

Там правду творя виноватым, невинным,
Он — в совете бояр и начало вождей —
Судил и рядил по законам старинным,
Допуская народ до пресветлых очей.

1

Блажен стократ, на чьи зеницы
Дыханье милой сводит сон;
Блажен, кто в сумраке денницы
Приветом друга возбужден!

Световид

Восстань, Роман, от ложа неги,
На утро свежее взгляни!
Твои стрельцы, твои кони́
Пришли на новые ночлеги
И жаждут зреть тебя они.
Сияет солнце; манят в поле
Волнистых озимей бразды;
Давно уж песню милой воле
Поют веселые дрозды;
Давно малиновка и чечет
Росой медвяной напились;
Летунья-ласточка щебечет,
Вкруг башен рея вверх и вниз;
Восходит жаворонок звучный
За облака под небосвод
И, блеском дня благополучный,
Ловцам заутреню поет.
Но, милый странник мой, готов ли
Делить со мной потеху ловли?

2

Роман

Нет, нет, пленительный ловец
Любовных, дружеских сердец!
Не в темный лес, а к князь Андрею
Веди посланником меня.
В речах судьбу князей храня,

В сей день я мир рукой моею
Скрепить иль разорвать имею.

И вот на пламенном коне,
Блистая в злате, как в огне,
Он едет в шитой однорядке.
За ним стрелков охранный строй,
Развитый лентою цветной,
Летит в торжественном порядке.
Романа за город ведут,
На поле мести, в божий суд.
Но случай, палица и сила
Сраженье совести решила.
И на возврат течет Андрей
В толпе, над радостным Дунаем,
Один, любовью охраняем,
Без лат, без копей и мечей.
Не в блеске праздничного хода,
Не в шуме дворской суеты,
Но, как отца в семье народа,
У врат суда и правоты
Посол встречает князь Андрея.
И где, скажите, видел взор
Земных царей дворец иль двор
Сего достойней и пышнее?
Пред князем на землю ступив,
Трикраты голову склонив,
Так говорил боярин смелый:

8

Князь! Всеволод, Олега сын,
Великий князь и властелин,
И обладатель Руси целой,
Тебе, как брат, любовно шлет
В моем поклоне свой привет!
Он хочет знать, зачем с Дуная
Тобой одним до сей поры,
Обычай предков презирая,
К нему не посланы дары?
Но, заключа добро в булате,
Мой князь не думает о злате,

Лишь гневен он, что ты один
К нему не выставил дружин.

Князь Андрей

Боярин! Если б на престоле
Признал я князя твоего,
Я б и тогда княжил по воле,
А не по прихоти его.
Но я ли робко и постыдно,
Забыв родных удел обидный,
Его признаю над собой,
Когда без повода, без права,
За Ярополком Вячеслава
С престола свергнул он долой?
Но я ли стану, лицемеря,
Душой играя, целовать
Союза крест, в союз не веря?
Того ль мне братом называть,
Кто Ярополка потаенно
Закинул в плен иноплеменный?

4

Роман

Нет, нет, Всевладовой души
Презренные обманы чужды!
Бессильный крадется в тиши,
Могучим нет в коварстве нужды.
Твой брат, молвою ослеплен,
Полякам сам отдался в плен.

Князь Андрей

Я верю, я желаю верить,
Что в этом он не виноват;
Но позабыть или измерить
Я не могу, хотя бы рад,
Позор моей обиды кровной...
Мои ли братья в наши дни
Иль он зажег вражды огни?

Роман

Соперники невинны ровно,
Хоть розно счастливы они:

Всевлад воздвиг свои знамена.
Как сын старейшего колена
Он общим гласом киевлян
Главою русичей избран.
И не всегда ль решает снова
Права князей судьбина-сечь,
И не везде ль венца княжова
И предок, и наследник — меч?

Князь Андрей

Пускай же будут в деле этом
Твои слова моим ответом:
Когда булат — ему судья,
Когда ему хищенье — слава,
То я могу и должен я
Стоять за честь родного права.

Роман

Давно ль поставили князья
Превыше долга связи рода?
Для них ли русский воевода
Отринет славную войну
За наших праотцев страну?

5

Князь Андрей

Посол! Души своей цену
Заплатим мы за кровь народа!
Для ней не только славу, месть
Забыл я хищнику нанесть.
И знай, что за стенами града
На бой готов, но, мир любя,
Я не восстану на Всевлада,
Ни за него, ни для себя;
Пленен забавою жестокой,
Не поведу я в край далекой
Красу дунайских ратных сил
Искать безвременных могил;
Не заслужу и укоризны,
Когда в пылу замыслит он

Завоевание отчизны,
Чужою силой облечен.

Роман

Питая мужество, напрасно
Он дышит мыслию прекрасной
Заверить русской стороне
Покой оружием извне!
Взгляни, в кичении досуга,
Теперь удельные князья
Воюют братние края,
Куют крамолы друг на друга,
Врагов скликая вновь и вновь,
Как черных воронов на кровь!
Дни поселян миролюбивых
В войнах князей сокращены;
Пылают кровы сел красивых;
По жатвам бродят табуны;
Довольство гибнет, вянут силы,
Растут не грады, а могилы,
И близки — в шуме вечных ссор —
Отчизны гибель и позор!
Чтоб удалить сии напасти,
Князей смирить и умирить,
Он хочет Русь соединить
Под крыльями верховной власти.

6

Князь Андрей

Видал ли ты, как черный дым
По чистом пламени крутится?
Так властолюбие таится
Под сим намереньем святым.
Конечно, если б муж великой,
Заслугой — родины отец,
Возник над Русью полудикой...
Тогда мой княжеский венец
Я первый бы, как сын покорный,
К его стопам сложил бесспорно.
Но чем, скажи, твой новый князь,

Успехом дерзости гордясь,
Привлек народное вниманье? ..
Или за слезы и за кровь
И прав священнейших попранье
Даются вера и любовь? ..
Но, расточая лести соты,
Меня ль он уловить хотел
В давно знакомые тенёты
Блестящих слов и черных дел!

Роман

Не послан я с тобой судиться;
Не мне решать, тебе решиться:
В последнее тебя зову
Признать Всевлада за главу.

Князь Андрей

В последний раз я отвечаю:
Не признаю́ и не призна́ю!
Переяславцам не война,
А дружба Киева страшна!

Роман

<Нрзб.> . . . .
<Нрзб.> . . . .
. . .Всё так, но что же будет,
Когда мой князь к тебе прибудет
Конями выпоить Дунай. . .

Князь Андрей

За правду бог! Не угрожай! ..
Наутро в мой дворец прибрежный
Я созову бояр в совет —
Скрепить, вручить тебе ответ. . .

Меж тем, как путника и друга,
Забыв вражду, измену, месть,
Тебя зову я *<нрзб.>* . . .
<Нрзб.> . . . .

Решились; более ни слова.

7

И вот ведут коня лихого
Ясельничие под уздцы.
Вдыхая ветр, он бурей пышет,
Он под собой земли не слышит!
«Стой, птичка, стой!» Недвижим конь;
Узду грызет, ушми играет,
Как будто всаднику внимает,
В глазах покорности огонь,
И князь, трепля по стройной вые,
Берет поводья золотые,
Садится медленно в седло.
Конюший оправляет стремя,
Младой сокольник в то же время
С поклоном сокола дает,
И поезд двинулся вперед.
Красуясь гордыми конями,
Дворяне мерною стопой
Съезжают в улицу рядами,
Гремя по звонкой мостовой.
При ветерке попоны веют,
Одежды радугой пестреют,
Мелькает гридней шумный рой.
Спешат довольные гражда́не,
В толпе прелестных дев и жен,
У князя доброго заране
Почетный выманить поклон;
И старцы, духом молодые,
С слезами радостных очей
Подъемлют на руки детей
Полюбоваться на Андрея!
Казалось, окна говорят,
Одушевленные народом,
И, голубым колебля сводом,
Благословения летят,
И вторит кликам клик ответный,
Стеной зубчатой отразясь:
«Да вечно здравствует наш князь!»
И в обе стороны приветно
Андрей с улыбкою чела
Склоняется к луке седла,

И, опеняя удила,
Звуча подковой искрометной,
Бегун, владельцем горделивый,
Меняет ход нетерпеливый.
И всех перевышал Андрей
Красою, крепостию тела;
К нему и жен любовь летела,
И упование мужей.
Так манит взор в венце зеленом
Веселие точащий грозд;
Так величаво небосклоном
Восходит месяц в хоре звезд.

8

Внимая сердцем глас народный,
Доволен юный добрый князь
И в откровенности свободной
К Роману молвит, обратясь:
«Хвала народа — мне услада;
И мне ль, Роман, страшиться зол?
Ему опора — мой престол,
А мне любовь его — ограда!
Она всех дел моих печать;
Она умеет услаждать
Мои заботы и досуги».

Роман

Князья родятся — получать
Награду ранее заслуги.

Прости мне смелость; шумный стан
Меня взлелеял к правде пылкой;
Дворец властителей Роман
Привык считать почетной ссылкой,
И у меня князьям привет
Низать, как жемчуг, дара нет.
И этот шум, и эти клики
Являют странника уму
Дань облачению владыки,
А не порыв любви к нему!

9

Князь Андрей

Так — не одно с молвою тихой
Молва науличных речей.
И колыбель, и гроб князей
Блестят обманчивой шумихой.
И лести искуситель — змей,
Даря безвременною славой
За доблести, которых нет,
Не только дел, желаний цвет
Сражает сонною отравой;
Льстецы, как трутней жадный рой,
Из самолюбия, из страха,
Из горсти золотого праха,
Пред князем ползают душой,
Его порочнейшие ковы
Хвалить и совершать готовы.
Их лесть я оценил. Мой двор
По воле и неволе знает,
Что низость князя унижает,
Что без заслуг хвала — укор,
И, веришь ли, порой досуга,
Забыв придворных суету,
Я вырываюсь за черту
Их очарованного круга;
И чувств народных простоту
То вызываю, то внимаю.

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Так, в деле правды, верю я,
Враги — нам лучшие друзья!

10

Знак подан; быстрая охота,
Полет готовя соколáм,
Рассыпана по берегам
Вблизи дремучего болота;

И взоры всех, и мысли там,
И всё молчит. Вот пес следничий,
Гонитель злой пернатой дичи,
В поток бросается стремглав;
По тростникам перебираясь,
То перескоками, то вплавь,
Идет, на ловчих озираясь.
Но. лов послыша издали,
Угрюмых тундр жилец пустынный,
Взлетела цапля от земли,
Назад простерши ноги длинны.
Свисток! — и с путою златой
Спадают шапочки долой.
Поражены лучом денницы,
Расширив ясные зрачки
И отрясаясь, хищны птицы
Не вдруг кидаются с руки.
И первый сокол князь Андрея,
Добычь узрев издалека,
Стрелой взвился под облака,
Свистящими крылами рея,
Всё вверх и вверх, и наконец
Ударил в цаплю, как свинец.
Но скорость силы бесполезной
Встречает клюв ее железный,
И с облаков на тихий дол,
Пронзенный, падает сокол.
От Любомира всходит мститель
В воздушную громов обитель,
Смелей, быстрее мысли он;
Несется, плавает кругами,
Стоит... упал... взмахнул крылами,
Бьет снизу вверх — и бой решен!
Роняет цапля кровь и стон
И тихо пред толпою праздной
Падет чертой винтообразной.
Боярин гордый соколу
Похвальные внимает клики,
И восхищенья пламень дикий
Играет по его челу,
И князю о паденьи скором
Он предвещает грозным взором,

Как будто птиц гадальный бой —
Венец победы роковой.

11

Не мне представить цепью длинной
В живой картине пышных слов
Удачи ловли соколиной,
И удальство младых ловцов,
И в дебри дальной и пустынной
Под ясенями древних лет
Княжой охотничий обед!
Как ум гостей, вино сверкало
И, словно радость, утекало,
И вечерел незримо день;
Хладея, солнце развивало
В долинах роскошную тень.
В обратный путь охота снова
На травлю псовую готова.

Роман и юный Световид
С какой-то негою невольной,
Сдержав коней, страны подольной
Прелестный созерцали вид:
Всё тихой радостью дышало,
Улыбкой небо расцветало,
И всюду тишина была;
Лишь запоздалая пчела
Свое жужжанье над цветами
Сливала с дальними звонками;
Березы, свившись в хоровод,
Поляну купами обстали,
И горлицы под ропот вод
В тени дубравной ворковали,
Напоминая сердцу вновь
Покой, и дружбу, и любовь.

12

Роман

Питомец звучных песнопений!
Не по мечу, по сердцу брат!

Я не дивлюсь, что томный взгляд
Очей твоих являет тени
Блестящих мыслей и видений!
Кого не вспламенит обзор
Твоих величественных гор!

Световид

Так, милый друг, от колыбели
Нагорный звук пленял меня
Пастушьей утренней свирели!
И, чудом отрока маня,
Мне повести и песни пели
О былина́х минувших дней,
О подвигах богатырей.
И я любил во тьме гаданья
Старинных доблестей черты,
Невероятные преданья,
Неисполнимые мечты!
И сладостны, и светлы были
Мои в дыхании весны
Очаровательные сны!
Они в тот край меня носили,
Где спеет яблок золотой,
Где вьются райские жар-птицы
И дом русалки молодой
В волнах растопленной денницы
Слиян из граней хрусталя;
Цветут рубинами поля,
Овцы блуждают златорунны,
И неземные дышат струны, —
Всё это видя и внемля,
В восторге песней бредил я!

13

Я возрастал; мои мечтанья
Росли невидимо со мной.
Мои любимые гулянья
Бывали там, где мрак лесной,
Где гребень гор возник порогом
Пред небожителей чертогом,

Куда носилася душа,
Священным воздухом дыша!
Одолеваем сладкой ленью,
В груди задумчивость тая,
Вод сладкозвучному паденью
Любил прислушиваться я;
Любил сливать напев отзывный
С стенаньем бури заунывной,
С веселой дробью соловья.
Тогда-то к смелым песнопеньям
В груди моей затлелся жар,
Тогда-то развился мой дар
Мысль окрилять воображеньем,
Давать живой язык страстям,
Сливая в думы голос тайный,
Знакомый пламенным сердцам,
Который тихо и случайно
Из лона жизни, из могил
Певцу понятно говорил.
Восторгом сердце трепетало,
Как ветром сорванный листок,
И думы пламенной поток
Ладами стройно изливало!
И эхо резвое внимало
Мою восторженную грусть
И, повторяя наизусть,
Скалам от скал передавало.
Но песни юности моей,
Моей задумчивой свирели,
Незнаемы умам людей,
Как стаи вольных лебедей,
Звуча, в поднéбесье летели!
Или досель кипят оне
В моей сердечной глубине!

14

Роман

Итак, пословицы известной
Молва правдива, что певец,
Хотя невинный и прелестный,

Но, тем не мене, верно, лжец.
И Световида ли напевы,
Внушая, не внимали девы!
Да, скромный друг, казалось мне,
Заметил я в одном окне
Красой и статью царь-девицу.
Зачем краснеть? .. Заметил я,
При первом взоре на тебя,
В ее глазах любви зарницу,
И вдруг с твоим слиялся он,
Какой-то негой упоен!
И лишь порою, для отводу,
Скользил небрежно по народу.
И то не скрылось от меня,
Когда, румянцем пламенея,
Ты в гордый скок пустил коня,
Забыв друзей и князь Андрея.
Но ей в поклон едва-едва
Склонилася твоя глава,
Чтоб глаз не свесть ни на мгновенье
С ее стыдливой красоты! ..
Иль друга обмануло зренье,
Иль обольстить желаешь ты! ..

15

Любовник опытный беспечно
Внимает с холодом очей
Намек о склонности своей,
Хоть рад внимать о милой вечно
И вечно говорить о ней;
Но страсти в пламенные лета
Не знают скромности завета:
Притом в очах была видна
Столь привлекательно ясна
Романа искренность младая,
Не прежней дружбы цепь святая,
А новой чистая вина...
И Световид, любовью тая,
Пред гостем сердце пролиял,
Как переполненный фиал.

Он описал прелестной Лады
Очаровательные взгляды,
И поступь — к венчику цветка
Прикосновенье ветерка, —
И стройный стан, как юный колос,
И сердцу небом звучный голос,
Чело — души прекрасной тень, —
И душу светлую, как день;
Он описал любви томленья,
Тоску разлук и негу встреч,
И взоров пламенную речь,
Взаимной страсти откровенья.

16

Но — ах! — земные наслажденья
Рок не дает, а продает:
Отец невесты Беловод,
По воле князя — гласу мира —
Сменил во власти Любомира,
И рай утратил Световид
Для мести суетных обид.
«Но пусть, — вещал он, — гнева сила
Десницы наши разлучила,
Без обручального кольца
Неразлучаемы сердца!
И я любовью Лады нежной
Благополучен безнадежной,
Хотя б судьбой мне суждено
Воспоминание одно!
Каким огнем душа пылала,
Когда, склонясь к груди моей,
«Люблю тебя!» — она шептала,
И свет бежал моих очей!
Когда медлительно и страстно
С коральных девственных устен
Я пил дыхание прекрасной,
Немым восторгом упоен!
О мой Роман! Я был блажен!..
В былом и небо уж не властно!!

17

Роман

Так! Воля самая небес
Не усладит минувших слез,
И злой кручины покрывала
Не свеять негою с лица!
Денница лет меня застала
На гробе милого отца!
И не любовью, не печалью,
Облечена военной сталью,
Впервые билась грудь моя;
Она от юности предела
Отчизны ранами болела,
И рано свет изведал я.
Меж тем за правду, за отвагу
В бою, в походе ратных сил
Я с первых лет княжому стягу,
Княжому сердцу близок был,
И наконец под шумом лова
В полях Чернигова родного
Мне душу Всеволод открыл;
Он мне вещал: «Я Русь святую
Люблю, как ты, как ты, ревную!
Мечтой минули времена
Владимира и Святослава,
Когда возникла наша слава,
Неразделимостью грозна.
Но власть князей великих ныне —
Глас вопиющего в пустыне!
И древний меч, противным страх,
Дрожит в бездоблестных руках.
Вождей совета и победы
Не вижу, не предвижу я:
Окрест — могучие соседы,
Внутри — ничтожные князья!
Но мне ль заране править тризну
За пол-умершую отчизну,
Когда, презрев молву и страх,
На благо силой пламенею,
Когда сподвижников имею
В моих бестрепетных друзьях!

Так, мы пойдем! Борьба настанет —
И Всеволод отважно грянет
Копьем в *златые* ворота
И, как рассеянные стрелы,
Соединит князей уделы
Под сенью твердого щита!
Пускай мгновенною грозою,
Пугая Русь, я пролечу,
Но, как гроза, ее омою,
И миру мир произращу!»

18

Я внял, навстречу светлой цели
Мои надежды полетели.
Я знал, что в недре оных дум
Возможность верная таится,
И смелый дух на всё решится,
И всё решит способный ум.
Тогда на слово и на дело
Я дал обет Всевладу смело,
И острый меч и юный век
На службу родины обрек.
О милый друг! Мне тяжко было
Сказать навечное «прости»
Всему, что сладостно и мило,
Что упованью рай сулило...
Ах! Дважды сердцу не цвести!
Любови молненная сила,
Воспламенив, его разбила!
Я мог ли милой посвятить
Отчизне отданную руку
Иль на печаль и на разлуку
Чужую младость осудить?
О! как мучительно с укором
Приветы нежные внимать
И беззаботно-хладным взором
Слезу любви оледенять,
Когда кипит душа младая,
Пожар страстей утаивая!
Терзаем завистию злой,

Я ночи млел на жарком ложе,
И утро восходило тоже
С неразделенною тоской.

19

Но наконец страдалец вольный,
Я сам себя преодолел
И на призыв трубы напольной
С отважным князем полетел,
И павший Киев — наш удел!
В те дни, влеком побед приливом
И пеной славы орошен,
Я мнил: о родине мой сон
Сбывался в подвиге счастливом.
«Всё можно в деле справедливом!» —
Был победителя закон.
Но, признаюсь, о том сомненье
Лишь только здесь Андрея глас
Во мне посеял в первый раз:
Ужель в огромности спасенье?
Беду ль бедами излечать?
Права ль неправдой водворять?
И для чего мне князь великий
Вчерне Андрея описал,
Когда ему несутся клики
Благодарений и похвал?..
Ужель?.. Но нет, молвой боярства,
Не местью князь мой увлечен!
От юных лет не ведал он
Властолюбивого коварства!

20

Световид

Ты сомневаешься, и вот
Неправой службы горький плод!
Конечно, ратникам знамена
Не по избранию даны,
Но это всё — не оборона
От тайной с совестью войны!

И я, душой благоговея,
Творца миров благодарю,
Что он возвел мою зарю
Под кроткой властию Андрея!
И за него я кровь пролью,
Утешной верою спокойный:
«Я правде был слуга достойный,
Я пал за родину мою!»

Но где ж охота удалая? ..
Внемли, Роман! На первый гон
Раздался доезжачих звон,
И, с дальним лаем лай сливая,
На след напала гончих стая
И в хор согласный залилась.
Наверно, там закинул князь!
По волку гонят; я внимаю:
И «береги» и «улюлю».
Ловцам отрадный шум охоты
Катится в глубь кремнистых гор;
Гудя на радостные ноты,
Скалы заводят звучный спор,
Но затихают постепенно
Отзывы ловли отдаленной,
Едва-едва по островам,
Немея, шепчет звук усталый,
И вот по холмам и долам
Молчанье вечера настало!

21

Следя звериную войну,
Спешат ловцы на вышину,
Склоненную крутым отвесом
Над темным тополевым лесом.
И вдруг долины в глубину
Влечет невольно их вниманье
То крик, то жалкое стенанье...
Они глядят, и в их очах
Из дебри, поднятой облавой,
Язвим рогатиной кровавой,
Медведь ловца низринул в прах.

И нет ему от них спасенья:
Стремниной путь им загражден
И вдаль отводит горный склон,
Слова напрасного моленья
В лесной теряются глуши.
Нигде ни звука, ни души.
Но бог везде! В полет мгновенья,
Как с облаков, упал ездок,
На зверя устремляя скок.
Восстал дубрав властитель черный
И, в крови лют, в бою упорный,
Коня когтями ранит в бок;
Спрянул боец; врага встречает,
Одеждой руку пеленает,
И вдруг бестрепетную длань
Вонзает в алчную гортань.
Его объемлет зверь свирепый,
Сдвигает мощных лап заклепы;
Но крепкий мех, но ребер медь
Проник булат — и пал медведь!

22

Друзья, нежданностью явленья
Устрашены, изумлены,
Развеяв хлад оцепененья,
Потоком скачут с крутизны.
По склону гор лесистым краем
Несутся легким горностаем
И, словно лебедя сыны,
Переплывают быстрины.
И вот узрели пред собою
Неустрашимого бойца:
Он влекся пеш кремней тропою
В крови и бледности лица,
Храня разбитого ловца
В седле заботливой рукою;
И в нем предстал очам друзей
Великодушный князь Андрей!
«Прости, о князь, мое сомненье, —
Воскликнул тронутый Роман, —

Я мнил, что мирное влеченье —
Презренной робости внушенье;
Упал с очей моих туман:
Теперь, погибель презирая,
Никем не видимый, один,
Чего же Мономаха сын
Не совершит, врагов сражая,
Перед лицом своих дружин!
Но для чего, о вождь избранный,
Ты убегаешь славы бранной?»

23

Князь Андрей

Что слава? Ломкая скудель,
Румянец тленья листопада!
Она — добыча, не награда
И душ, и дел, летящих в цель!
Падут герои величавы,
И в позолоченных гробах
Сиянье северное славы
Не согревает хладный прах,
Не придает душе покою:
Века тяжелою пятою
Сотрут златые письмена;
Изроет плуг гробниц обломки,
И нерадивые потомки
Забудут славных имена!
Скажи мне: кто такие были
Вожди бесстрашные славян,
Когда они с полночных стран
Пределы римские громили?
Не то ль мы зрим? Вблизи, вдали,
Окрест могучие народы,
Шумя победами, текли
И, как весной нагорны воды,
Исчезли вдруг с лица земли!
Где имя их? Где силы рьяны?
Где слава жизни боевой?
Лишь развевает вихрь степной
Их безответные курганы!

И не про всех поют бояны,
Звезды возвышенной сыны,
И тонут в бездне быстрины
Их мимолетные творенья!

21

Но пусть живые песнопенья
Иль темный летописей глас
Заронят в пепеле забвенья
Хоть искру памяти о нас...
Заплатит ли цену́ исканий,
Цену́ кровей в устах преданий
Один припев, один рассказ?
И, может быть, летописатель,
Таясь в глуши монастырей,
Теперь на подвиги князей,
Пристрастный оных созерцатель,
Наводит лесть, слагает брань,
Друзей народа обесславит,
Злодеев доблестью оправит
И ложную накличет дань
На их главы от поздних братий
Рукоплесканий иль проклятий.
Достойно ль жаждать славы сей,
Подруги смелого порока,
Невольницы хотений рока,
Случайной прихоти людей!
Не ей — общественному благу
Я посвятил мою отвагу,
И лейтесь веки вслед векам
За улетающим мгновеньем!
И, смерть, по жизненным путям
Запороши мой след забвеньем!
Но если я в годину тьмы
Хоть сердце шаткое исправил,
Хотя немногие умы
Любить прекрасное заставил,
Когда лучом душевных сил
Законы правды озарил,
Когда благие увещанья

Иль безупречный подвиг мой
Взойдут незнаемой виной
Великодушного деянья...

25

Я не исчез в бездонной мгле,
Но, сединой веков юнея,
Раскинусь благом по земле,
Воспламеняя и светлея!
И, прокатясь ключом с горы,
Под сенью славы безымянной,
Столь отдаленной и желанной
Достигну радостной поры,
Когда, познав закон природы,
Заветный плод во мгле времян
Людьми посеянных семян
Пожнут счастливые народы!
Когда на землю снидут вновь
Покой и братская любовь,
И свяжет радуга завета
В один народ весь смертный род,
И вера все пределы света
Волной живительной сольет,
Как море благости и света!
В надежде сей, Роман, познай
Мою сладчайшую отраду,
Мою молву, мою награду,
Мое бессмертие и рай!

26

Умолк. Чело его сияло,
На небо светлый взор летел,
Как будто он сквозь покрывало
Лицо грядущего узрел.
И, внемля речи вдохновенной,
Мечтатель, сердцем восхищенный,
Дань убеждения принес
Невольных, но отрадных слез.

27

Меж тем, покинув поезд шумный,
И нелюдим, и одинок,
Доволен тьмой, как сам порок,
Съезжает Любомир злоумный;
И вот спешит к нему ездок,
Питомец гибельной науки,
Дружинный сотник Богуслай.
Они встречаются, — внимай
По ветру зыблемые звуки.

Богуслай

Ты в черный день пустился в даль;
Стремянный твой — добыча зверя.
Мне удалого, право, жаль:
Надежных слуг важна потеря;
Он переломан. Говорят,
Ему не жить.

Любомир

Я очень рад.
Когда окрепли зданья сводны,
Подпоры только в пламень годны.
Я рад, что случая полет
Завеял грязный этот след.
Ты был? ты видел?

Богуслай

Все готовы.
За наше дело восстает
Оллай, Стемид, Гаральд суровый.

Любомир

Я знал, что к золоту липка
Варягов медная рука.
Людям без рода и отчизны
Какие страшны укоризны?
Какая низость не легка?
По нас — милей властьми награда,
По них — приданое Всевлада.

Богуслай

Так, Любомир, в его после
Твоих собратий ищут взоры
И заверенья, и опоры.

Любомир

И нет стыда на их челе?
Теперь оглядываться поздно.
Надежда смелых — не в полке,
Она в решительности грозной,
В своей душе, в своей руке.
Но храбрецы отваги мерной
Досель не зрят, что сей Роман —
Защитник пламенный и верный
Младого князя киевлян.

Богуслай

Но друг ли нам?

Любомир

О маловерный!
Он должен быть, он будет им!
Какой мудрец из выгод мира
Не сотворит себе кумира?

Богуслай

Он на корысть неуловим.

Любомир

У всех в уме одно и то же:
Крепясь, продать себя дороже.
Пускай богат и молод он,
Пускай не думает о власти,
Но разве тихой славы звон
Плохой будильник юной страсти?
Когда ж и сей напрасен ков,
Волшебный клич «за край отцов»
Доводит этих бескорыстных
До злодеяний ненавистных.

Но он готов: и злато чаш
Хранит дыханье прежней влаги,
Поклонник счастливой отваги,
Любимец власти будет наш.

29

Богуслай

Но для чего ж Роман доселе
Не извещен о грозном деле?
Нам дорог час и дорог он.

Любомир

А мне успех всего дороже!
Не первенство ли за поклон
Ему отдать! Избави боже!
Я знаю гордость пришлеца:
Он слово подвигом оценит
И в думе Всеволода сменит
Мой труд — улыбкою льстеца!
Нет, друг мой, нет! Роман единый,
Последний и в последний час,
Услышит заговора глас,
И будет он с своей дружиной
Его красой, а не пружиной,
И впереди, — так юный конь
Пугается кремня ударом,
Но, обезумленный пожаром,
Отважно прядает в огонь.
Меж тем приятелям-боярам
Ты возвестишь: «Посол Роман
За них со властию княжою»,
Пред вечно зыбкою толпою
Благотворителен обман.
Скажи: «Успех венчает дело,
Он там, где начинают смело».
Нам жить иль ползать — только день;
И нет спасенья в лоне страха;
За нами — гибельная плаха,
Пред нами — счастия ступень!
Спеши!

30

В тумане возрастая,
Домой он медленно потек.
Пред ним густела тьма ночная,
Как за кончиной грозный век!
И пал боязни хладный иней
На сердце, полное гордыней.
Невольной памяти упрек
Вослед ему рассеял тени
Им презираемых видений:
Звучит могилою земля,
И кличет филин, словно совесть,
И шепчет лист о казни повесть,
И тяжек стон коростеля.
Так, озираясь и бледнея,
Во мгле, как в саване, он был
Подобен трупу чародея,
Когда сей выходец могил
Едва почует луч холодный
(В очах молвы простонародной —
Велением подземных сил),
Покинув тихое кладбище,
Стремится в мир за адской пищей,
И в бледной синеве лица
Недвижные мерцают очи,
Как светляки во мраке ночи,
И кровь — уста у мертвеца;
Блуждает он, объятый мглою,
Грозя окрестностям бедою...

Конец второй главы

ОТРЫВОК ИЗ 5-Й ПЕСНИ ПОЭМЫ «АНДРЕЙ, КНЯЗЬ ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ»

В святой одежде пилигрима
Течет Андрей. На ложе сна,
Полусокрыта, полузрима,
Лежит окольная страна.
И потопляет крылья стана

Волна прозрачного тумана,
И сквозь нее в стекле реки
Едва играют огоньки,
Едва белеют в беспорядке
Военачальников палатки,
Подобно крылиям ладей,
Подобно стае лебедей.
Вдали княжое знамя дремлет
И кисти древка в вышине
Струей незыблемой объемлет.
И всё окрест в глубоком сне.
Но не затихнула покоем
Страстями вспененная кровь:
У тех чело пылает боем,
На тех улыбка и любовь.
И снова ратников заносит
Крыло мечтаний в пламя сеч,
И снова длань хватает меч,
И снова сердце славы просит.

Он шел. Кругом синела степь;
Вдали уснувший стан военный,
И дым огней, и стражей цепь,
И стражей оклик повременный,
И бой копыт, и звон оков
Неукротимых жеребцов.
Бойницы близки: князь на воле,
Но, медля в думе роковой,
Он ноет тяжкою тоской,
Пред ним вечерней битвы поле...

Едва луной озарены
Сверкают шлемы и кольчуги;
Тела во прахе и в крови...
Теперь узнай и назови:
Кто недруги твои, кто други?..
Мечи в их раны вонзены,
Впились в кровавые ножны;
И темный раб, и вождь избранный
Пробиты сталью троегранной,
К сырой земле пригвождены.
Коня могучего стремленье

В полете смерть перегнала
И боя гордое храпенье
С ноздрей широких сорвала.

Он пал. Недвижны удила
Белеют пеной белоснежной,
Как после бури пень прибрежный,
Как вихрем сбитый виноград,
Во прахе юноши лежат:
Умчался жизни дух крылатый,
В очах последняя слеза,
Потускли ржавчиною латы,
По лицам хладная роса,
Но дышит гневом их краса,
И затекли печатью крови
Укором сдвинутые брови.

ДУМА СВЯТОСЛАВА

(Из 5-й песни поэмы «Андрей, князь Переяславский»)

С тех пор война, завоеванье,
И пламень сел, и битвы кровь —
Мое первейшее желанье,
Моя последняя любовь!
И верю я, что славы сына
Не гаснет сердце и в пыли,
И душу хладная кончина
Не вдруг отвеет от земли;
Но змеем, по ветру носимым,
На нить страстей прикреплена —
Над милым ей крылом незримым
Она летать обречена.
Как величаво, как отрадно,
Привычки славные храня,
Мой смелый дух, раздолья жадный,
Как взор ума, как луч огня,
Помчится по полю видений,
Неумолкающих сражений
С громами, с вихрями слиян!
Я полюблю в часы ночные
Будить тревогой спящий стан,

Вздувать знамена боевые,
Стремить пернатую стрелу,
Вдыхать в трубу победы звоны,
Клик боя вторить, падших стоны
И славным витязям хвалу!

То, скуча в мирный парус веять,
Иль в облаках орла лелеять,
Иль раздувать степной туман,
Низгряну в кровли крупным градом,
Сорвусь с утеса водопадом,
Огнистой радугой венчан...
Иль над помория страною
В столбе ужасного смерча [1]
Взовьюсь на Стрибога [2] войною,
Крылом свистя и грохоча,
Сквозь туч пия валы седые,
Сторгая кедры вековые.

1827

---

[1] Смерч, водяная труба; тифон.
[2] Русский бог ветров

ИМЕНИННИКУ

Я, пробужденный ранним звоном,
За вас угоднику хочу
Поставить с набожным поклоном
Свою смиренную свечу.
И, как елей, к отцу святому
Моя молитва потечет:
«Да здравствует утеха дому,
Одноименник твой Федот.
Вели, чтоб на него дождили
Рубли рекой. Да повели,
Чтобы всегда сохранны были
Его кони́ и корабли!
Чтобы птенцы его росли
Со всяким днем умней и краше,
Чтоб у него, как в полной чаше,
Велось приятелям вино,
А бедным лишние копейки;
Росло сторицею зерно,
Плодились куры и индейки...
И продолжи́, как лепту, вновь
К нему и дружбу и любовь!
Чтобы по-прежнему соседы
Твердили: «Он душа беседы!»
И пол прекрасный говорил:
«Федот Федотыч очень мил!
Как он приветлив и забавен,
Услужлив и веселонравен!»
Так от заштатного поэта,

Не осуди, прошу принять
Слова нелестного привета,
На нем души моей печать.
И, наконец, я пропою
(Как закоснелый греховодник)
В мольбах тебе, святой угодник,
Еще секретную статью:
«Благослови, чтоб у Федота
На ложе радостном любви
Не утомлялася работа,
И труд его благослови!
И бодро жизненною силой
Одушеви житье-бытье,
И неизменное копье
Скрепи, воздвигни и помилуй!»

2 марта 1828
Якутск

САТЫРЬ

(Якутская баллада)

Не ветер вздыхает в ущелье горы,
Не камень слезится росою —
То плачет якут до полночной поры,
Склонясь над женой молодою.
Уж пятую зорю томится она,
Любви и веселья подруга,
Без капли воды, без целебного сна
На жаркой постели недуга;
С румянцем ланит луч надежды погас,
Как ворон, над нею — погибели час.

Умолкните, чар и моления вой
И бубнов плачевные звуки! [1]
С одра Саатырь поднялась головой,
Простерла поблеклые руки;
И так, как под снегом роптанье ручья,
Как звон колокольчика дальный, [2]
Струится по воздуху голос ея.
Внемлите вы речи прощальной.
Священ для живых передсмертный завет:
У гробных дверей лицемерия нет!

«О други! Уйдет ли журавль от орла?
От пуль — быстроногие козы?
Коль смертная тень мне на сердце легла,
Прильют ли дыхания слезы?
О муж мой! Не плачь: нам судьба изрекла

И в браке разлучную долю.
По воле твоей я доселе жила,
Исполни теперь мою волю:
Покой и завет нерушимо храня,
На горном холме схорони ты меня!

Не вешай мой гроб на лесной вышине [3]
Духам, непогодам забавой;
В родимой земле рой могилу ты мне
И кровлей замкни величавой.
Вот слово еще, роковое оно:
Едва я дышать перестану,
Сей перстень возьми и ступи в стремено,
Отдай его князь Буйдукану.
Разгадки ж к тому не желай, не следи —
Тайна эта в моей погребется груди!..»

И смерть осенила больную крылом,
Сомкнулись тяжелые вежды;
Казалось, она забывается сном
В объятиях сладкой надежды;
С дыханием уст замирали слова,
И жизнь улетела со звуком;
Отринув стрелу, так звенит тетива,
Могучим расторгнута луком.
Родных поразил изумляющий страх...
На сердце тоска, и слеза на очах.

Убрали. Поднизки подобием струй
Текут на богатые шубы. [4]
Но грусти печать — от родных поцелуй
Не сходит на бледные губы; [5]
Лишь смело к одру подходил Буйдукан
Один, и стопою незыбкой;
Он обнял ее, не смущен и румян,
И вышел с надменной улыбкой.
И чудилось им — Саатыри чело,
Как северным блеском, на миг рассвело!..

Наутро, где Лена меж башнями гор
Течет под завесой туманов
И ветер, будя истлевающий бор,

Качает гробами шаманов,[6]
При клике родных Саатырь принесли
В красивой колоде кедровой,[7]
И тихо разверстое лоно земли
Сомкнулось над жертвою новой.
И девы и жены, и старый и млад
В улус потекли, озираясь назад.

Вскипели котлы, задымилася кровь
Коней, украшения стада,
И брызжет кумыс от широких краев,
Он — счастья и горя услада;
И шумно кругом, упоенья кумир,
Аях пробегает бездонный;[8]
Уж вянет заря. Поминательный пир
Затих. У чувала[9] склоненный
Круг сонных гостей возлежит недвижим,
Лишь в юрте, синея, волнуется дым.

Осыпаны кудри цветных тальников
Росинками ночи осенней,
И вышита зелень холмов и лугов
Узором изменчивых теней;
Вот месяц над теменем сумрачных скал
Вспрянул кабаргой златорогой,
И луч одинокий по Лене упал
Виденьям блестящей дорогой:
По мхам, по тропам заповедных полян
Мелькают они сквозь прозрачный туман.

Что крикнул испуганный вран на скале,
Блюститель безмолвия ночи?
Что искрами сыплют и меркнут во мгле
Огнистые филина очи?
Не адский ли по лесу рыщет ездок
Заглохшей шаманскою тропкой?
Как бубен звуча, отражаемый скок
Гудит по окрестности робкой...
Вот кто-то примчался — он бледен лицом,
Как идол, стоит на холме гробовом.

И прянул на землю; удар топора
Раздвинул затвор над могилой,
И молвит он мертвой: «Подруга, пора!
Жених дожидается милой!
Воскресни для новых веселия дней,
Для жизни и счастия. Кони
Умчат нас далеко, и ветер степей
Завеет следы от погони.
Притворной кончиною вольная вновь,
Со мной ты найдешь и покой, и любовь».

«Ты ль это? О милый! о князь Буйдукан!
Как вечно казалось мне время!
Как душно и страшно мне было! Обман
На сердце налег, будто бремя!..
Роса мне катилась слезами родных,
На ветре — их стон безотрадный!
И черви наместо перстней золотых
Вились — и так смело, так жадно!..
Вся кровь моя стынет... А близок ли путь?
О милый, согрей мне в объятиях грудь!»

И вот поцелуев таинственный звук
Под кровом могильной святыни,
И сладкие речи... Но вдруг и вокруг
Слетелися духи пустыни,
И трупы шаманов свились в хоровод,
Ударили в бубны и в чаши...[10]
Внимая, трепещут любовники. Вот
Им вопят: «Вы наши, вы наши!
Не выдаст могила схороненный клад;
Преступников духи карают, казнят!»

И падают звезды, и прыщет огонь...
Испуганный адскою ловлей,
Храпит и кидается бешеный конь
На кровлю — и рухнула кровля!
Вдали огласился раздавленных стон...
Погибли. Но тень Саатыри
Доныне пугает изменчивых жен
По тундрам Восточной Сибири.

И ловчий, когда разливается тьма,
В боязни бежит роковсго холма...

Примечания автора

Содержание этой баллады взято из якутской сказки. *Саатырь* — значит «игривая».

[1] Якуты до сих пор не кинули обычая при болезнях призывать шаманов, которые гаданья, леченья и мольбы свои сопровождают воплями и звуками бубна (*дюгюрь*).

[2] Якутские узды нередко увешиваются позвонками.

[3] В старину они вешали гробы свои на деревьях или ставили их на подрубленных пнях.

[4] Серебряные украшения женские, сделанные довольно искусно из цепочек и пластинок, весьма широких.

[5] Якуты боятся прикосновения к мертвым.

[6] Шаманы более прочих пользовались правом воздушного погребения. Еще и теперь в диких местах можно видеть гробы их.

[7] Колода, пустая в середине и расколотая пополам, — якутский гроб.

[8] *Аях* — огромный деревянный кубок; в него входит ведра полтора, но я видел удальцов, которые осушали его сразу. Прожорство якутов на праздниках (*исых*) невероятно: в моих глазах один из них выпил 30 фунтов растопленного масла.

[9] *Чувал* — камин, очаг, он стоит посредине юрты, спинкою ко входу. Якуты не знают иных печей.

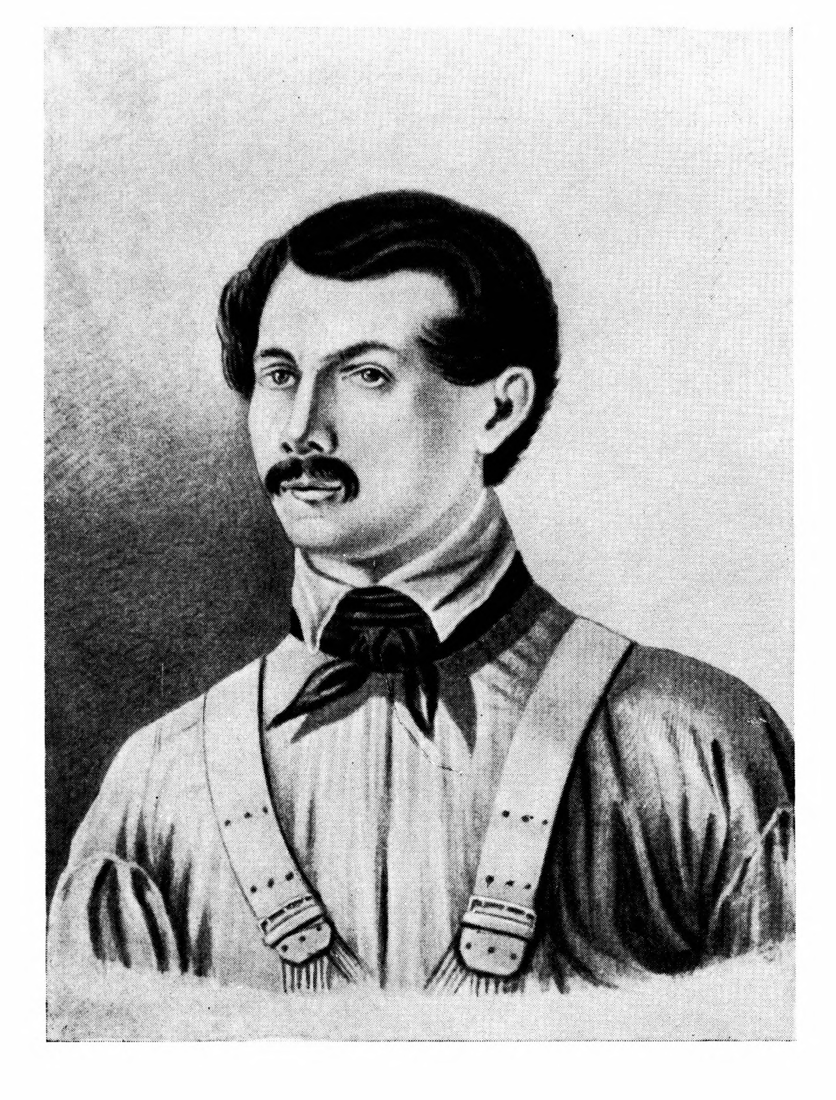
[10] Суеверия всех народов сходны. Якуты верят, что колдуны их покидают ночью гробы свои, пляшут, бьют в бубны, стараются вредить живым и тому подобное.

1828
Якутск

<НАДПИСЬ НАД МОГИЛОЙ МИХАЛЕВЫХ В ЯКУТСКОМ МОНАСТЫРЕ>

Неумолимая, холодная могила
Здесь седины отца и сына цвет сокрыла.
Один под вечер дней, другой в полудни лет
К пределам вечности нашли незримый след.
Счастливцы! Здесь и там не знали вы разлуки,
Не знали пережить родных тяжелой муки.
Любовью родственной горевшие сердца
Покой вкусили вдруг для общего венца.
Мы плачем; но вдали утешный голос веет,
Под горестной слезой зерно спасенья зреет,
И все мы свидимся в объятиях творца.

1828
Якутск



ЧЕРЕП

Was grinsest du mir, hohler Schädel, her?
Als dass dein Hirn, wie meines, einst verwirret
Den leichten Tag gesucht und in der Dämmrung schwer,
Mit Lust nach Wahrheit, jämmerlich geirret.

Goethe's Faust [1].

Кончины памятник безгробной!
Скиталец-череп, возвести:
В отраду ль сердцу ты повержен на пути,
Или уму загадкой злобной?

Не ты ли — мост, не ты ли — первый след
По океану правды зыбкой?
Привет ли мне, иль горестный завет
Мерцает под твоей ужасною улыбкой?

Где утаен твой заповедный ключ,
Замок бессмертных дум и тленья?
В тебе угас ответный луч,
Окрест меня туман сомненья.

Ты жизнию кипел, как праздничный фиал,
Теперь лежишь разбитой урной;
Венок мышления увял,
И прах ума развеял вихорь бурный!

---

[1] Что скалишь зубы на меня, пустой череп? Не хочешь ли сказать, что некогда твой мозг, подобно моему, в смятении искал радостных дней и в тяжких сумерках, жадно стремясь к истине, печально заблуждался? «Фауст» Гете (нем.). — *Ред.*

Здесь думы в творческой тиши
Роилися, как звезды в поднебесной.
И молния страстей сверкала из души,
И радуга фантазии прелестной.

Здесь нежный слух вкушал воздушный пир,
Восхи́щен звуков стройным хором;
Здесь отражался пышный мир,
Бездонным поглощенный взором.

Где ж знак твоих божественных страстей,
И сил, и замыслов, грань мира облетевших?
Здесь только след презрительных червей,
Храм запустения презревших!

Где ж доблести? Отдай мне гроба дань,
Познаний светлых темный вестник!
Ты ль бытия таинственная грань?
Иль дух мой — вечности ровесник?

Молчишь! Но мысль, как вдохновенный сон.
Летает над своей покинутой отчизной,
И путник, в грустное мечтанье погружен,
Дарит тебя земле мирительною тризной.

1828

ЮНОСТЬ

(Подражание Гете)

Реют ласточки весною
По долам и по водам;
Так мечтанья за мечтою
Вдаль и вкруг, и там и сям;
Новость манит в испытанье,
Сердце ноет взором дев;
Грусть для юноши — питанье,
Слезы — счастия припев.

1828

ИЗ ГАФИЗА

Прильнув к твоим рубиновым устам,
Не ведаю ни срока, ни завета.
Тоска любви — единственная мета,
Лобзания — целительный бальзам.

1828

ИЗ ГЕТЕ

(С персидского)

Пейте! Самых лет весна —
Упоенье без вина.
Старец, пей вино до млада:
В нем чудесная отрада;
На печаль грустит любовь,
Враг печали — гроздий кровь.

Не пытай, зачем оно
Было встарь запрещено!
Что заветно, то и слаще,
Пей же лучшее, да чаще;
Будешь гяуром вдвойне
Проклят на плохом вине.

1828

ИЗ ГЕТЕ

(Подражание)

Как часто, милое дитя,
Тебя чуждаюсь я невольно,
Когда, в толпе людей блестя,
Крутимся мы, хоть сердцу больно.

Но в мраке ночи и в тиши
Тебя, не видя, нахожу я
По жару девственной души,
По сладкой неге поцелуя.

1828

ЗЮЛЕЙКА

Нет, ты мой, и мой навечно!
От любви любовь крепка,
Прелесть страсти, друг сердечный,
Краше перстня и венка.
Гордо я подъемлю брови
От твоих высоких дум;
Бытие мое в любови,
А душа любови — ум.

1828

С ПЕРСИДСКОГО

Будь, любезная, далеко,
Так, как запад от востока, —
Но любви чего нельзя?
Степь и море — ей стезя,
Сердце всюду страж и плата,
К милой шаг и до Багдада.

1828

ЕЙ

Когда моей ланитой внемлю
Пыланию твоих ланит,
Мне радость небеса и землю
И золотит, и серебрит;
Душе так сладко и покойно,
И тих, и волен сердца ход;
Так солнце катится беззнойно
На лоно зе́ркальное вод.

1828

ВСЕГДА И ВЕЗДЕ

(Из Гете)

Ключ бежит в ущелья гор,
В небе свит туманов хор;
Муза манит к воле, в поле
Трижды тридевять и боле.
Вновь напененный бокал
Жарко новых песен просит,
Время катит шумный вал,
Но опять весну приносит.

1828 (?)

МАГНИТ

(Из Гете)

Вечно ли тайна магнита
Будет для смертных сокрыта?
Тайна разгадана вновь —
Это вражда и любовь.

1828 (?)

ФИНЛЯНДИЯ

(А. А. З<акревско>му)

Я видел вас, граниты вековые,
Финляндии угрюмое чело,
Где юное творение впервые
Нетленною развалиной взошло.
Стряхнув с рамен балтические воды,
Возникли вы, как остовы природы!

Там рыщет волк, от глада свирепея,
На черепе там коршун точит клёв,
Печальный мох мерцает следом змея,
Трепещет ель пролетом облаков;
Туманы там — утесов неизменней
И дышат век прохладою осенней.

Не смущены долины жизни шумом;
Истлением седеет дальний бор;
Уснула тень в величии угрюмом
На зеркале незыблемых озер;
И с крутизны в пустынные заливы,
Как радуги, бегут ключи игривы.

Там силой вод пробитые громады
Задвинули порогом пенный ад,
И в бездну их крутятся водопады,
Гремучие, как воющий набат;
Им вторит гул, жилец пещеры дальней,
Как тяжкий млат по адской наковальне,

Я видел вас! Бушующее море
Вздымалося в губительный потоп
И, мощное в неодолимом споре,
Дробилося о крепость ваших стоп;
Вам жаркие и влажные перуны
Нарезали чуть видимые руны.

Я понял их: на западе сияло
Светило дня, златя ступени скал,
И океан, как вечности зерцало,
Его огнем живительным пылал,
И древних гор заветные скрижали
Мне дивные пророчества роптали!

16 января 1829

ТОСТ

Вам, семейство милых братий,
Вам, созвездие друзей,
Жар приветственных объятий
И цветы моих речей!
Вы со мной — и лед сомненья
Растопил отрадный луч,
И невольно песнопенья
Из души пробился ключ!
В благовонном дыме трубок,
Как звезда, несется кубок,
Влажной искрою горя
Жемчуга и янтаря;
В нем, играя и светлея,
Дышит пламень Прометея,
Как бессмертия заря!
Раздавайся ж, клик заздравный,
Благоденствие, живи
На Руси перводержавной,
В лоне правды и любви!
И слезами винограда
Из чистейшего сребра
Да прольется ей услада
Просвещенья и добра!
Гряньте в чашу звонкой чашей.
Небу взор и другу длань,
Вознесем беседы нашей
Умилительную дань!
Да не будет чужестранцем
Между нами бог ланит,
И улыбкой, и румянцем

Нас здоровье озарит;
И предмет всемирной ловли,
Счастье резвое, тайком
Да слетит на наши кровли
Сизокрылым голубком!
Чтоб мы грозные печали
Незаметно промечтали,
Возбуждаемы порой,
На веселье и покой!
Да из нас пылает каждый,
Упитав наукой ум,
Вдохновительною жаждой
Правых дел и светлых дум,
Вечно страху неприступен,
Вечно златом неподкупен,
Безответно горделив
На прельстительный призыв!
Да украсят наши сабли,
Эту молнию побед,
Крови пламенные капли
И боев зубчатый след!
Но, подобно чаше пирной
В свежих розанах венца,
Будут искренностью мирной
Наши повиты сердца!
И в сердцах — восторга искры,
Умиления слеза,
И на доблесть чувства быстры,
И порочному — гроза!
Пусть любви могучий гений
Даст нам радости цветы
И перуны вдохновений
В поцелуе красоты!
Пусть он будет, вестник рая,
Нашей молодости брат,
В пламень жизни подливая
Свой бесценный аромат,
Чтобы с нектаром забвенья
В тихий час отдохновенья
Позабыть у милых ног
Меч, и кубок, и венок.

Февраль 1829

В ДЕНЬ ИМЕНИН

Ал. Ив. М....й

Невольный гость в краю чужбины,
Забывший свет, забывший лесть,
Желал бы вам на именины
Цветов прелестнейших поднесть:
Они — дыханию услада,
Они — веселие очей.
При них бы мне писать не надо
Вам поздравительных речей:
Желанье счастья без печали
В цветах вы сами б угадали...
Но, ах! — якутская весна
Не зелена и не красна!
И здешний май, холодный, дикой,
Одной подснежною брусникой,
А не жасминами богат.
Природа спит, и в поле целом
Я разжился одним пострелом,
А я слыхал, такой наряд
На именины не дарят.
Итак, по воле и неволе
Пришлось приняться за перо,
Хоть я забыл в угрюмой доле
Писать забавно и пестро.
Примите ж это благосклонно,
И в шуме праздничного дня
Не осудите вы меня
За мой привет простой и сонный.
В нем правда — каждая черта;

Притом же ваша доброта
По слуху, по сердцу и дома
И вчуже страннику знакома...
Когда про наши все грехи
Едва не пели петухи,
Когда решил собор соседов,
Что мы опасны, как чума,
Что мы без сердца, без ума,
Вы очень смирных людоедов
И обласкали, и нашли
В изгнанниках родной земли.
В краю зимы и дружбы зимной,
Поверьте, только вы одне,
Ваш разговор гостеприимный
Напоминал друзьям и мне
О незабвенной стороне.
О, будь же добродетель та же
И с нею брат ее — покой,
Как неизменный часовой,
У сердца вашего на страже.
Да никогда печали тень
Не хмурит тихий свет забавы,
И, проводив веселый день,
Поутру встанете вы здравы...
Да будут ясны ваши сны,
Как небо южныя весны,
И необманчивы надежды,
И перед вами все невежды
По крайней мере хоть скромны;
Совет подруги чист и верен,
Знакомых круг нелицемерен,
Неутомителен бостон,
Ни бальных скрипок рев и стон!
Когда ж на берега великой,
На берега моей Невы,
Покинув край морозов дикой,
Стрелою полетите вы,
Да встретят путницу родные,
Беспечной юности друзья,
И все по сердцу не чужие,
И вся родимая семья
Благополучны и здоровы,

И пылки, и разлукой новы,
И смех, и радость, и расспрос,
И сладкий дождь свиданья слез!!
Зачем же, искра упованья —
Дожить до сладкого свиданья, —
В груди моей погасла ты!
Но я ступил из-за черты
Сорокаверстного посланья.
И мне, и вам унять пора
Болтливость моего пера,
Но знайте: это всё с начала
По пунктам истина скрепляла,
Хоть неподкупна и строга;
Тут не сплетал из лести кружев
Ваш всепокорнейший слуга
Пустынник Александр Бестужев.

18 мая 1829
Якутск

ЛИДЕ

Приди, о милая, приди
  На берег изумрудный!
Разлуки сон в моей груди —
  Тяжелый, беспробудный.

Приди и сердце оживи
  Очей волшебным светом,
Невинной ласкою любви,
  Младенческим приветом!

С тобой, красавица-душа,
  Светлее утра слезы
И, благовоннее дыша,
  Горит румянец розы.

С тобой, струями говоря,
  Поток сверкает ярче,
Свежей вечерняя заря
  И тихий полдень жарче.

И мнится, воздух напоен
  Неведомым томленьем
И лист, зефиром оживлен,
  Трепещет наслажденьем.

И, к смертным благости полна,
  По синеве бездонной
Над нами катится луна
  С улыбкой благосклонной.

Приди, о милая, приди!
    И страсти вал мятежный
Ты укротишь в моей груди
    Елеем дружбы нежной.

1829

РАЗЛУКА

О дева, дева,
Звучит труба!
Румянцем гнева
Горит судьба!
Уж сердце к бою
Замкнула сталь,
Передо мною
Разлуки даль.
Но всюду, всюду,
Вблизи, вдали,
Не позабуду
Родной земли;
И вечно-вечно —
Клянусь, сулю! —
Моей сердечной
Не разлюблю.
Ни день истомы,
И страх, и месть,
Ни битвы громы,
Ни славы лесть,
Ни кубок пенный,
Ни шумный хор,
Ни девы пленной
Манящий взор...
. . . .

1829
Якутск

ПРЕСЫЩЕНИЕ

Ты пьешь любви коварный мед,
От чаши уст не отнимая,
И в сердце юное течет
Струя восторгов огневая;
И упоен, и утомлен,
Ты ниспадаешь в тихий сон.
Мечтаний рой тебя лелеет,
Кропя росою сладких слез.
Так с жадных крыл прохладу веет
На жертву неги кровосос;
Так в цвете истлевают силы
От пресыщенья в пыль могилы.
Ты скажешь: «Мил заветный плод,
Не дважды молодость цветет,
И без желаний волны Леты
Шумят всегда у наших стоп!»
Но ты и сердцу прежде меты
Готовишь гибельный озноб,
И поздний плач, и ранний гроб.

1829

Е. И. Б<УЛГАРИ>НОЙ

(В альбом)

Зачем меня в тяжелом сне
Тревожат лестные веленья?
Нет, не поминок обо мне,
Я жажду струй самозабвенья!
Мое любимое давно
Во прахе лет погребено.
Минувших дней змеиный свиток
Хранит лишь дней моих избыток
И радостей, которых нет,
Неизменимо-хладный след.
Зачем, зачем же вы желали
Мне сердце пробудить опять,
В свои летучие скрижали
Мою кручину записать?
Зачем? Вам будут непонятны
Страстей мятежных письмена,
И воли грозная волна,
И прихоть думы коловратной,
Которой сила, как стрела,
Сквозь ад и небо протекла.

Но дайте года два терпенья,
И, может быть, как важный гусь,
И я по озеру смиренья
Бесстрастно плавать научусь.
Когда с порой мечтанья минет
Вся поэтическая дурь

И на душе моей застынет
Кипучий след минувших бурь,
Тогда, поэт благоразумный,
Беспечно сидя на мели,
Я налюбуюсь издали
На треволненье жизни шумной;
Тогда премилый ваш альбом
Я испещрю своим пером.
И опишу отменно точно,
Что я случайно иль нарочно
Изведал на своем веку:
Печалей терны, счастья розы,
Разлуки знойную тоску
И неги сладостные слезы,
И свод небес, и ропот струй,
И вечно первый поцелуй.
Тогда, покорен вашей воле,
На арзерумского пашу
В пятнадцать песен, даже боле,
Я эпопею напишу.
Зато позвольте мне дотоле,
Скрепив измученную грудь,
От рифм и горя отдохнуть.

1829

ЧАСЫ

И дум, и дел земных цари,
Часы, ваш лик сияет страшен,
В короне пламенной зари,
На высоте могучих башен,
И взор блюстительный в меди
Горит, неотразимо верный,
И сердце времени в бесчувственной груди
Чуть зыблется приливом силы мерной.
Оживлены чугунною стрелой
На вас таинственные роки,
И оглашает вещий бой
Земле небесные уроки.
Но блеск, но голос ваш для ветреных племен
Звучит и озаряет даром
Подобно молнии неведомых письмен,
Начертанных пред Валтасаром.
«Летучее мгновение лови, —
Поет любимцу голос лести —
В нем золото и ароматы чести,
Последний пир, свидания любви
И наслажденья тайной мести».
И в думе нет, что упований прах
Дыханье времени уносит,
Что каждый маятника взмах
Цветы неверной жизни косит.
Заботно времени шаги считает он
И бой, к веселию призывный;

Еще не смолк металла звон,
А где же ты, мечты поклонник дивный?
Окован ли безбрежный океан
Венцом валов — минутной пеной?
Детям ли дней дался победный сан
Над волей века неизменной?
Безумен клик «хочу — могу».
Вознес Наполеон строптивую десницу,
Сдержать мечтая на бегу
Стремимую веками колесницу...
Она промчалась! Где ж твой меч,
Где прах твой, полубог гордыни?
Твоя молва — оркан пустыни,
Твой след — поля напрасных сеч.
Возникли светлые народов поколенья
И внемлют о тебе сомнительную речь
С улыбкой хладного презренья.

1829

СОН

Зачем зарницею без гула
Исчезла ты, любви пора,
И птичкой юность упорхнула
В невозвратимое «вчера»?
Давно ль на юношу, давно ли,
Обетом счастия горя,
Цветами радости и воли
Дождила светлая заря?
Давно ль с родимого порога
Сманила жизнь на пышный пир
И, как безгранная дорога,
Передо мной открылся мир?
И случай, преклоняя темя,
Держал мне золотое стремя,
И, гордо бросив повода,
Я поскакал туда, туда!..
Летим — сорвал бразды шелковы
Неукротимый конь судьбы,
И брызжут пламенем подковы,
Гремя о плиты и гробы.
Я обезумел, воздух свищет —
Всё вдаль и вдаль, надежда прочь.
И вот на нас упала ночь,
И под скалою бездна прыщет,
Над головой расшибся гром,
И конь, и всадник, прянув с края,
Кусты и глыбы отрывая,
В пучину ринулись кольцом.
Замлело сердце! Вихрь кончины
Мне обуял и взор, и ум.

Раздавлен на брегу пучины,
Едва я слышу рев и шум.
Вот набегают грозно, жадно
За валом вал наперерыв;
Уж мой отчаянный призыв
Стихает, залит пеной хладной...
И вдруг с утеса на утес,
Как зверь, поток меня понес.
. . . .
Очнулся я от страшной грезы,
Но всё душа тоски полна,
И мнилось, гнут меня железы
К веслу убогого челна.
Вдаль отуманенным потоком
Меж сокрушающихся льдин,
Заботно озираясь оком,
Плыву я грустен и один.
На чуждом небе тьма ночная;
Как сон, бежит далекий брег,
И, шуму жизни чуть внимая,
Стремлю туда невольный бег,
Где вечен лед, и вечны тучи,
И вечносеемая мгла,
Где жизнь, зачахнув, умерла
Среди пустынь и тундр зыбучих,
Где небо, степь и лоно вод
В безрадостный слияны свод,
Где в пустоте блуждают взоры
И даже нет стопе опоры!
Плыву. На тихом сердце хлад,
Дремотой лени тяжки вежды,
И звезды искрами надежды
В угрюмом небе не горят.
Забвенья ток меня лелеет,
Мечта уснула над веслом,
И время в тихий парус веет
Своим мирительным крылом.
Всё мертво у меня кругом...
И близко бездна океана
Белеет саваном тумана.

1829

К ОБЛАКУ

Куда столь быстро и легко,
И гордо, и прелестно,
Ты пролегаешь, облачко,
Скиталец поднебесный?

Земли бездомное дитя,
Игралище погоды,
Напрасно, радугой блестя,
Ты, радостью природы!

Завоет вихрь, взметая прах, —
И ты из лона звездна
Дождем растаешь на степях
Бесславно, бесполезно!..

Блести, лети на ветерке
Подобно нашей доле —
И я погибну вдалеке
От родины и воли!

1829
Якутск

ДОЖДЬ

Провиденья перст незримый,
Облаков летучих вождь,
Ниве, жаждою томимой,
Посылает шумный дождь.
Звучно, благостью обильный,
Брызнул ток живой воды,
Освежая злаки пыльны
И замершие плоды.
Вот и радуга завета
Капли светлые зажгла:
То улыбка бога света —
Сень бессмертного чела.

1829

ОЖИВЛЕНИЕ

Чуть крылатая весна
 Радостью повеет,
Оживает старина,
 Сердце молодеет;
Присмирелые мечты
 Рвут долой оковы,
Словно юные цветы
 Рядятся в обновы,
И любви златые сны,
 Осеняя вежды,
Вновь и вновь озарены
 Радугой надежды.

1829

Еще ко гробу шаг — и, может быть, порой,
Под кровом лар родных, увидя сии строки,
Ты с мыслью обо мне воспомнишь край далекий,
Где, брошен жизни сей бушующей волной,
Ты взора не сводил с звезды своей вожатой
И средь пустынь нагих, презревши бури стон,
Любви и истины искал святой закон
И в мир гармонии парил мечтой крылатой.

1829

ШЕБУТУЙ
(ВОДОПАД СТАНОВОГО ХРЕБТА)

Стенай, шуми, поток пустынный,
Неизмеримый Шебутуй,
Сверкай от высоты стремнинной
И кудри пенные волнуй!

Туманы, тучи и метели
На лоне тающих громад,
В гранитной зыбля колыбели,
Тебя перунами поят.

Но, пробужденный, ты, затворы
Льдяных пелен преодолев,
Играя, скачешь с гор на горы,
Как на ловитве юный лев.

Как летопад из вечной урны,
Как неба звездомлечный путь,
Ты низвергаешь волны бурны
На халцедоновую грудь;

И над тобой краса природы,
Блестя, как райской птицы хвост,
Склоняет радужные своды
Полувоздушных перлов мост.

Орел на громовой дороге
Купает в радуге крыле,
И серна, преклоняя роги,
Глядится в зеркальной скале.

А ты, клубя волною шибкой,
Потока юности быстрей,
То блещешь солнечной улыбкой,
То меркнешь грустию теней.

Катись под роковою силой,
Неукротимый Шебутуй!
Твое роптанье — голос милой;
Твой ливень — братний поцелуй!

Когда громам твоим внимаю
И в кудри льется брызгов пыль —
Невольно я припоминаю
Свою таинственную быль...

Тебе подобно, гордый, шумный,
От высоты родимых скал
Влекомый страстию безумной,
Я в бездну гибели упал!

Зачем же моего паденья,
Как твоего паденья дым,
Дуга небесного прощенья
Не озарит лучом своим!

О жребий! Если в этой жизни
Не знать мне радости венца —
Хоть поздней памятью обрызни
Могилу тихую певца.

Май 1829

<ОТРЫВОК>

Вечерел в венце багряном
Ток могучего Днепра,
Вея радужным туманом
С оживленного сребра.
Черной тучею над бездной
Преклонен, дремучий лес
Любовался чашей звездной
Опрокинутых небес.
И за девственною дымкой,
Чуть блестя росою сна,
Возлетала невидимкой
Благодатная луна.

Отвечает горд и весел
Звучный лад, настройки взмах,
И взлетает с гибких весел
<След?> ладьи, алмазный прах.
И за быстрою кормою
[Говорливая] бразда
Сыплет искры за собою,
Как летучая звезда.

1830 (?)

ОСЕНЬ

Пал туман на море синее,
    Листопада первенéц,
И горит в алмазах инея
    Гор безлиственный венец.

Тяжко ходят волны хладные,
    Буйно ветр шумит крылом.
Только вьются чайки жадные
    На помории пустом.

Только блещет за туманами,
    Как созвездие морей,
Над сыпучими полянами
    Стая поздних лебедей.

Только с хищностью упорною
    Их медлительный отлет
Над твердынею подзорною
    Дикий беркут стережет.

Всё безжизненно, безрадостно
    В померкающей дали,
Но страдальцу как-то сладостно
    Увядание земли.

Как осеннее дыхание
    Красоту с ее чела,
Так с души моей сияние
    Длань судьбины сорвала.

В полдень сумраки вечерние —
    Взору томному покой,
Общей грустью тупит терние
    Память родины святой!

Вей же песней усыпительной,
    Перелетная метель,
Хлад забвения мирительный
    Сердца тлеющего цель!

Между мною и любимого
    Безнадежное «прости!»
Не призвать невозвратимого,
    Дважды сердцу не цвести.

Хоть порой улыбка нежная
    Озарит мои черты,
Это — радуга наснежная
    На могильные цветы!

<1831>
Дагестан

ЭПИГРАММЫ

1

Люблю я критика Василья —
Он не хватает с неба звезд.
Потеха мне его усилья
Могучих дум замедлить рост:
Вороне мил павлиний хвост,
Но страшны соколины крылья!

2

Клим зернами идей стихи свои назвал;
И точно, все, как зерна, их лелеют:
Заключены в хранительный подвал,
Пускай они до новой жизни тлеют!

3

Да, да, в стихах моих знакомых
Собранье мыслей — насекомых!

<1831>

ПРИПИСКА К БОГАТОМУ НАДГРОБИЮ В БЕДНОСТИ УМЕРШЕГО ПОЭТА

Не спас от нищеты полет орлиных крыл,
Ни песней дар, ни сердца пламень!
Жестокие! У вас он хлеба лишь просил,
Вы дали — камень.

<1831>

ОТВЕТ

Литература наша — сетка
На ловлю иноморских рыб;
Чужих яиц она наседка;
То ранний плод, то поздний гриб;
Чужой хандры, чужого смеха
Всеповторяющее эхо!

1831 (?)

ПОЭТАМ АРХИПЕЛАГА НЕЛЕПОСТЕЙ В МОРЕ ПУСТОЗВУЧИЯ

Печальной музы кавалеры!
Признайтесь: только сто́пы вы
Обули в новые размеры,
Не убирая головы!

И рады, что нашли возможность,
На разум века не смотря,
Свою распухлую ничтожность
Прикрыть цветами словаря!

1831 (?)

Я за морем синим, за синею далью
Сердце свое схоронил.
Я тоской о былом ледовитой печалью,
Словно двойной нерушимою сталью,
Грудь от людей заградил.

И крепок мой сон. Не разбит, не расколот
Щит мой. Но во мраке ночей
Мнится порой, расступился мой холод,
И снова я ожил, и снова я молод
Взглядом прелестных очей.

1834

ЗАБУДЬ, ЗАБУДЬ

Кн. Н. У.

Ты улетаешь, ангел света,
И свет души уносишь ты,
Но не зальет годами Лета
Тобой зажженные мечты.

А я бы жаждал в тьме забвенья,
В холодной бездне утонуть.
О сердце! Милое виденье
Ты навсегда забудь, забудь!

Запомни сладость первой встречи,
И негой думы полный взор,
И ум чарующие речи,
И голос — ключ певучий гор!

Нет, не падет росой целебной
Слеза прощальная на грудь.
Забудь, о сердце, сон волшебный —
И навсегда забудь, забудь...

28 августа 1835
Пятигорск

АДЛЕРСКАЯ ПЕСНЯ

(На голос «Как по камешкам чиста реченька течет...»)

Плывет по морю стена кораблей,
Словно стадо лебедей, лебедей.
Ай, жги, жги, жги, говори,
Словно стадо лебедей, лебедей.

Волны по морю кипят и шумят,
Меж собою таку речь говорят —
Ай, жги, жги, жги, говори —
Меж собою таку речь говорят:

«Уж зачем это наши корабли,
Как щетиною, штыками поросли?
Ай, жги, жги, жги, говори,
Как щетиною, штыками поросли?

Уж не будет ли турецкая кровь
Нас румянить по-старому вновь?
Ай, жги, жги, жги, говори,
Нас румянить по-старому вновь?»

Тучи по небу летят и шумят,
Меж собой они речь говорят —
Ай, жги, жги, жги, говори —
Меж собой они речь говорят:

«Для чего полны солдат корабли,
У орудий курятся фитили?
Ай, жги, жги, жги, говори,
У орудий курятся фитили?

Уж недаром слетаются орлы,
Как на пир, на черкесские скалы.
Ай, жги, жги, жги, говори,
Как на пир, на черкесские скалы».

Паруса надуваются, шумят,
Что на палубах солдатушки сидят.
Ай, жги, жги, жги, говори,
Что на палубах солдатушки сидят.

Им ефрейторы делают наряд,
Усачи молодым говорят —
Ай, жги, жги, жги, говори —
Усачи молодым говорят:

«Ей вы, гой еси кавказцы-молодцы,
Удальцы, государевы стрельцы!
Ай, жги, жги, жги, говори,
Удальцы, государевы стрельцы!

Посмотрите, Адлер-мыс недалеко,
Нам его забрать славно и легко.
Ай, жги, жги, жги, говори,
Нам его забрать славно и легко.

Каждый гоголем встряхнись, встрепенись,
Осмотри ружье да в шлюпочки садись.
Ай, жги, жги, жги, говори,
Осмотри ружье да в шлюпочки садись.

С кораблей врагам пару поддадут,
Через головы там ядра заревут.
Ай, жги, жги, жги, говори,
Через головы там ядра заревут.

А чуть на мель, мы вперед, усачи,
Сумы в зубы, в воду по пояс скачи!
Ай, жги, жги, жги, говори,
Сумы в зубы, в воду по пояс скачи!

Вражьих пуль не считай, не зевай,
Мигом стройся, да команды ожидай.
Ай, жги, жги, жги, говори,
Мигом стройся, да команды ожидай.

И придет вам потешиться пора —
Дрогнет Адлер от солдатского ура.
Ай, жги, жги, жги, говори,
Дрогнет Адлер от солдатского ура.

Беглым шагом на завал, на завал,
Тому честь и крест, кто прежде добежал.
Ай, жги, жги, жги, говори,
Тому честь и крест, кто прежде добежал.

В рукопашную пали и коли,
И вали, и усами шевели.
Ай, жги, жги, жги, говори,
И вали, и усами шевели.

Нам похвально, гренадеры, егеря,
Молодцами умирать за царя.
Ай, жги, жги, жги, говори,
Молодцами умирать за царя.

Нам не диво, гренадеры, егеря,
Пить победную чару за царя.
Ай, жги, жги, жги, говори,
Пить победную чару за царя».

5 июня 1837
На 44 пушечном фрегате «Анна»

II

ИЗ ПИСЬМА К С. В. САВИЦКОЙ

...Что ж до меня, то я бы желал прихода лета — тогда, Софья Васильевна, я бондировал бы всю Ладогу балладами и идиллиями, — но теперь

Как жаль, что веют здесь Бореи — не Зефиры,
Что не цветут цветы,
И словом: вешних дней не видно красоты!
А то бы, волю дав струнам пернатой лиры
(В простонаречии: гусиное перо),
На крыльях юныя мечты,
Я б мог представить вас среди полей, кусточков,
Гуляющу в тени лесов,
Задумавшуюся при шуме ручейков,
При говоре листочков,
При пеньи птиц лесных;
И даже, вспомнивши тираду из Моины,
Вздыхающею (для картины);
Или в душе с мечтой, с мадам Жанлис в руке,
Спешите к Волхову-реке,
То с песнями по ней катаясь в челноке,
То на уде, и гибкой, и дрожащей,
Прельстившись чешуей блестящей,
Влечете бьющихся невинных рыб из волн,
То к старой Ладоге стремите утлый челн
И там, с высот уже осиротелых башен,
Раздробленных веков стопой,
На все окрестности бросаете взор свой.
Воспоминаете, сколь Игорь в них был страшен,
Как славою сей град гремел!..
А ныне? Там, где меч о камнь точил воитель,

Где щит войну звучал, звенели тулы стрел,
Смиренная стоит отшельников обитель;
Плющом каменья поросли,
Упали стены и бойницы,
И кролики живут героев средь столицы.
Вы мыслите: «Так всё проходит на земле!..»
И в гости на кадриль спешите.
Потом я мог представить вас
На берегу крутом, где Волхов волны рьяны
Катит через порог, через бугры песчаны,
Стрелой летя от глаз.
Я вижу мысленно: на сопке вы сидите,
На запад пламенный глядите,
Любуетесь, когда среди пурпурных туч
Играет, отразясь, последний солнца луч;
Как с тверди мраки льются,
Как по холмам туманы вьются.
...Вы погрузились в море дум;
Вот слышится плеск волн, дубравы тихой шум
И ветров хладных завыванье,
И под курганами подземное стенанье.
По чувствам трепет пробежал,
Цепями призрак зазвучал.
О ужас! близко... Не пугайтесь...
Не бойтесь мертвецов, — с живыми забавляйтесь
В кругу своих
Знакомых и родных.
Об ужасах лишь в снах видайте,
Лишь в жмурках в мрачности блуждайте.
И, стихотворному поверя не всему,
Благодарите вновь зиму́,
Котора, в теплые вас комнаты загнавши,
Вкруг игр и радости собравши,
С сестрами, братьями заставила весть дни
В священной отческой сени!
А то бы силою обильна рифм теченья
И летнего воображенья
Я, может быть, заставил вас
Парить из Ладоги — по ветру на Кавказ!

...Но еще все ли я высказал? Посещения, приемы, игры, танцы, катанья, гулянья и проч. и пр. занимают вас, я думаю, не менее приятно во всё время праздников.

Лишь к удовольствиям желания стремя,
Смеетесь, резвитесь, танцуете, а я?

А я скучаю по обыкновению, сижу дома по привычке, занимаюсь по охоте. Много читаю, мало пишу, и еще менее сочиняю. По общему уделу людей думаю и раздумываю, в неудачах приговариваю, всё к лучшему! О смертной косе думаю редко; ибо люблю жить, хоть и не боюсь смерти, веселюсь, когда можно (это не часто бывает), радоваться здесь нечему —

Я не живу почти, — дышу,
Скучаю сам, других смешу
И, хладность дружбы
Мечтами золотя,
Играю цепью службы,
Как милое дитя.

1816 или 1817

ИЗ ПИСЬМА К С. В. САВИЦКОЙ

...Прошу вас при первом сухом времени идти прогуливаться, — иначе мое желание может сделаться пустым; вот оно:

Чтоб с первым вешним ветерком
Повеяла вам радостью свобода,
Чтоб первым полевым цветком
Украсила вас юная природа.
Чтоб зелень первая играющих ветвей
Склонилася над вашею главою,
Чтоб первый <же> сверкающий ручей
Кристальной освежил струею
И сладкой песнью соловей
Вас первую пленил собою.

...Теперь в прибавку этого желаю вам, что можно желать на нашей скудной радостями земле —

Чтобы во всякое время, в полях и лесах,
Тихой мечтою сердце лелея,
Вы были довольны при Феба лучах
И счастливы в снах, на маках Морфея.

1 апреля 1819

ИЗ «ПОЕЗДКИ В РЕВЕЛЬ»

ИЗ ПИСЬМА ПЕРВОГО

Желали вы, — я обещал,
Мои взыскательные други,
Чтоб я рассказам посвящал
Минутных отдыхов досуги
И приключения пути
Вам описал, как Дюпати;
Чтоб я, питомец праздной лени
И пестун прихотей ее,
Ловил крылатых мыслей тени
Под сонное перо мое;
Чтоб я былого с идеальным
Разнообразные черты
Воображением хрустальным
Одел в блестящие цветы
Поэзии, всегда игривой,
Или веселости шутливой;
Я обещал, друзья мои,
И уверительно, и смело,
Когда звездилося Аи
И с кровью резвою кипело.
Теперь совсем иное дело:
Мечты сокрылись, былей нет,
И я, грызя перо с досады,
Напрасно устремляю взгляды
Сквозь наблюдательный лорнет:
Здесь люди — люди, свет как свет,

А на <гвардейские> петлицы
(Замечено из-под руки)
Не вьют цветочные венки
Парнаса милые сестрицы;
Затем напутный мой рассказ
Без пиитических прикрас
Рука небрежная писала;
Итак, друзья, начнем с начала.

Я расстался с вами ненадолго, судя по времени, надолго по сердцу, и в 7 часов вечера шлагбаум Нарвской заставы прогремел далеко за мною. Кони ринулись, и звонкие колокольчики двух троек залились на Петергофской дороге. Мороз был жестокий, небо яснело, мрачились мысли мои. Один сидел я в санях и вполне чувствовал свое одиночество.

Сменив лошадей в Стрельне, мы помчались далее.

Приближаясь к Кипени, я бросил взор на холмы и поля, окрест Дудергофа и Красного Села лежащие. Там каждое лето маневрируем мы и приучаемся к будущим битвам.

Бывало, там, когда природа в сне,
  Гремела пушка заревая,
И всадник по полю, рисуясь, на коне
  Скакал, оружием сверкая,
  И вдруг стекался к строю строй,
  Перун послышав боевой,
  Пехота двигалась стенами,
  Смыкались латников полки,
  И налетали казаки,
  И, тихо вея флюгерами,
  Уланов приближался рой;
  И луч денницы золотой
  Дробился на штыках граненых
  И на доспехах вороненых.
  Вот слышим: «Смирно! По местам!»

И только, друзья мои. Во фронте нет рассказов. Ученье кончилось; я, запыленный, усталый, бросаюсь с коня и уже под вечер выхожу подышать чистым воздухом на крутой скат горы, откуда всё море, весь Петербург видны как на ладони.

Там с милым Геснером ночь тихую встречал
  И с вечною фантазией крылатой;
Прощальный свет зари, как роза, увядал,
  И меркнул запад полосатый.

И месяц-юноша, задумчивый, один,
Едва бросал лучи свои румяны;
Как море, в глубине объятых сном долин
Дымилися махровые туманы.

И шепчущий тростник, сверкающий ручей,
И небосклон, безмолвием угрюмый, —
Всё наводило грусть, и всё в душе моей
Унылы воскрешало думы.

Вдруг тучи сизые, как ворона крылом,
Одели свод небес; перуны запылали;
А мы, нетрепетны, под трепетным шатром
Шум бури смехом заглушали.

Бледнела молния перед огнем ланит
Беспечных юношей; за чашей круговою
Беседу прежних битв рассказ животворит,
И настоящее сменялось стариною.

Внимая подвигам наездников полка,
Душа неведомым огнем воспламенялась,
И взгляд врага искал, и смелая рука
За рукоять меча хваталась.

...Я застал роман моего героя на главе женитьбы; но это не помешало мне узнать, что он — кларнетист Иван Иванович Пошман, что его отец был громкий человек, потому что в театре играл на трубе; что бывший тесть его, гробовой мастер, делал самые крепкие гробы в Петербурге, без течи и сквозного ветра; что жена бранилась с ним каждый день и била его всякое воскресенье, — однако же он любил ее за отличное искусство варить кофе и ревновал, потому что это водится.

Но, взор за нею устремя,
Напрасно он гремел замками:
Лель видит более двумя,
Чем ревность тысячью глазами.

Попросту сказать, жена ему изменила, подобрала себе в Зигварты какого-то аптекаря и принудила мужа заплатить за разводную.....

ИЗ ПИСЬМА ВТОРОГО

...Брат уехал вперед; скоро и я пустился за ним же.

Ворота скрипнули за мною,
И я в дорогу поскакал;
Туман волнистой пеленою
Кругом всё поле застилал;
Бледнея, утренни поляны
Тонули в сумрачных зыбях,
И солнце на восток румяный
Вдруг вышло в пламенных лучах.
Поля алмазные зажглися,
Туманы в облачки слилися,
Полупрозрачною грядой
На свод взбежали голубой.
В жемчуг осыпанными снежный
Ветвями ветерок играл;
От сосн и от угрюмых скал
Простерлись тени перебежны.
Яснело утро; я скакал,
И с скрипом подрези жужжали,
И быстро мимо нас мелькали
Леса, и холмы, и поля;
От взоров небеса бежали,
Катилась из-под ног земля,
И снег, взвеваемый конями,
Летел за резвыми санями
И, будто огненным дождем,
Сверкая в радуге цветистой,
На след ложился серебристый.

В самом деле, какое прекрасное зрелище представляет зимой восходящее солнце, когда багряным щитом выкатывается оно над заснеженною землею!

...Без особенных приключений добрались мы в самое рождество Христово до последней станции к Ревелю. Уже было 7 часов вечера, как мы пустились в дорогу, и долго ехали по едва набитой тропе. Вдруг порхнул снег, сгустился, поднялась вьюга и обширная пустыня морского берега взволновалась под крылами бушующего ветра. Гранные камни, означающие путь, начали скрываться, снег ослеплял глаза, вихрь заметал дорогу; наконец и след ее исчез.

«Не так ли, — думал я, — исчезнем и мы?»

Промчатся веки вслед векам
За улетающим мгновеньем,

И смерть по жизненным путям
Запорошит наш след забвеньем!..

...Здешние балы не походят на столичные, откуда так часто возвращаешься с пустотою в душе, с дремотою в глазах и с пылью на платье. На них не встретишься с шумной толпою фанфаронов, которые у нас скучают паркетом и с важным видом рассказывают обветшалые пустяки; они

Довольные собою сами
И тупы остротой чужой,
Всех душат скукой выписной,
Любезностями и духами.
Кокеток не увидишь там,
Разряженных не по летам,
Которые состав скудельный
Цветят гирляндою поддельной
И, снова думая блеснуть
Давно забытой красотою,
Хотят под сетью кружевною
Свою антическую грудь
Зефиром купленным надуть;
Незнаемы чувств ложных взоры,
Расписанных не видно лиц,
И лестью жителей столиц
Там не румянят разговоры;
Насмешек, пересудов нет,
Незнаем философский бред,
И колкость шутке неизвестна;
Веселость сердца не шумна;
Там и застенчивость прелестна,
И прелесть самая скромна;
Девиц заемной мишурой
Ни ум, ни платье не блистает,
Но их невинность украшает
Неотцветаемой красой.

В самой вещи здесь редко увидишь летучие перья, которые так удачно дамы наши избрали эмблемою своего легкомыслия, или райскую птичку на голове какой-нибудь Медузы. Переходя сюда, петербургские моды теряют странность свою, и потому недостаток ее заменяют здесь вкусом...

ИЗ ПИСЬМА ЧЕТВЕРТОГО

...Я встретил Новый год очень весело, а вы знаете, что душевная веселость цветет во мне столь же редко, как и цвет на алоэ... мне понравилась маска... Он был одет почтальоном и всем коротко знакомым своим разносил письма, заключавшие в себе небольшие куплеты. Вот те, которые помню как могу и перевожу как умею.

Хозяйке дома

Душа семьи и мать, достойная похвал,
Ты — счастие родных, ты — ближних идеал.

Одной красавице

Небесный взор очей твоих,
Как в зеркале, души являет совершенство;
Но одному он принесет блаженство
И горе множеству других!

Девушке, которая прекрасно пела

Как в пении твоем сребристый голос нежный,
Течет в твоей груди спокойство безмятежно.

Мужу, у которого жена мила как ангел

Кто б позавидовать тебе не захотел?
Богиня смертному досталася в удел.

Жене его

Цветок первейших благ, как радость неизменный,
Цветет в душе твоей бесценной...

...Парни, где кисть твоя? Стерн, где твое перо? Возможно ли живописать подобно им все прелести, меня окружающие?.. Я был весел, потому что смотрел на всё в радужные очки юности. Этот вечер будет записан красными чернилами в календарь моей жизни; но пожалейте, други, о беспокойном духе моем, который всегда идет

навстречу к неприятностям и шепчет мне среди забав: удовольствия исчезнут, как ракета, и лишь дым воспоминания ляжет на сердце.

Ах, если радости земной
Сокроется очарованье
И мне безвременно судьбой
Таится в будущем страданье!
О молодость! умчи с собой
О счастии воспоминанье!

1820—1821

ИЗ «ДОРОЖНЫХ ЗАПИСОК НА ВОЗВРАТНОМ ПУТИ ИЗ РЕВЕЛЯ»

СТАНЦИЯ ЧИРКОВИЦЫ

Взяв на Нарвской станции лошадь, я отправился верхом к водпаду; скачу и через двадцать минут останавливаю коня своего:

Там, где гремучая Нарова
С утеса падает крутого,
Сперва она, раскинув лед,
К порогам с гордостью течет;
Вот ожемчуженной грядою
Толпятся волны за волною
В стесненный, боязливый круг.
Вот близко пропасти... и вдруг,
Сверкнув лучом хрустальной влаги,
Вниз скачут, полные отваги,
И, прядая через скалы,
Играют в красоте чудесной
Отливом радуги небесной,
Огнями громовой стрелы;
Вот в бурные слились валы
И с грохотом алмазну стену,
Упав, разбрызгивают в пену.
Громами падающих вод
Двоит свой шум водоворот,
И, берег одичалый роя,
Нарова грозная шумит
И снова, чуждая покоя,
В затворах мельницы кипит.

Река, ниспадая, делится надвое и образует остров, на котором стоят две пильные мельницы. Голова кружится, внимая шуму волн: они стонут, разбиваясь о кремнистые утесы, стелются на них всплесками и с пеною, с ревом текут, стрелой несутся далее. Рыболовы уверяют, что под наклоненными скалами порога есть пещеры, недоступные воде. Многие смельчаки пробирались туда сквозь бой водоворота и безвредны возвращались назад.

Но посмотрите снова на водопад:

Струи, свергаясь пеленою,
Как бы играют меж собою;
То брызжут золотым снопом,
То гнутся радугою смелой,
То, вспыхнувши цветным лучом,
Летят и гаснут в пене белой.

И это еще не всё, друзья мои! Вспомните, что театр представляет мороз в 15°, что солнце отражается в тысячах разновидных ледяных кристаллов:

Там виден зеркалом наяд
Оледенелый водопад,
И цепи мхов, и плющ печальный
Корой подернуты кристальной;
Гроздями вылился алмаз;
С прибрежных сосн, с ветвей долины
Кистями зыблются рубины
И блеском ослепляют глаз.
И всё величие картины —
Покров сияющий зимы,
Реки пенистые холмы,
Плеск волн, порогов содроганье,
Скрип колеса, жужжанье пил
Свершили чувств очарованье,
И мнилось мне, что взмахом крыл,
По манию волшебной трости,
Я занесен к Армиде в гости
Или в чертог бесплотных сил.
И, в пурпурны слиянный тучи,
Кругом от брызгов дым летучий,
И волн серебряный туман —
Всё обольщенье уловляло
И всё в мечтателе питало
Души оптический обман.

Однако я заметил, что мое воображение, привычное только летать, а не плавать, опустило мотыльковые крылья свои, и оттого, может быть, заметите вы, что и поэзия моя упала на точку замерзания.

Отдаляясь от водопада, я не уставал любоваться им. Вдруг печальное воспоминание о несчастье одного из предков моих, как тучей, набежало на довольную мысль мою.

1821

ИЗ «ЛИСТКА ИЗ ДНЕВНИКА ГВАРДЕЙСКОГО ОФИЦЕРА»

День вечерест. На берегу Пейпуса сижу я на разбитой молнией сосне, и ветер сдувает с волос моих крупные капли недавнего дождя. Разорванные тучи то разлетаются по небу, то громадятся на краю небосклона и вдалеке распадаются дождем. Пейпус бушует: волны длинными рядами катятся на берег, и ни души нет на берегу, ни лодки на озере; кругом всё пусто и дико, как будто и мысль человека не залетала сюда. Но смотрите, как отрадно сверкнула мгновенная радуга между облак, нависших над мрачною бездною, — отрадно, как воспоминанье минувшего. Но исчезла радуга...

Смотри, как буря в лоне туч
С багровой молниею зреет,
Как солнца одинокий луч,
Прокравшись, в озере бледнеет;
Как грозно, под завесой мглы,
Седые плещутся валы.
И вот низвергся ливень градный,
И быстрый вихорь, лист полей
Крутя, шумит, звучит отрадно
Для жаждущей души моей.
Мне ужасы природы милы:
На лад стихий и бури вой,
И лишь тогда, расправив крылы,
По свету реет гений мой.
Он любит с пламенной мечтой
В тумане древности носиться,
И вот она, покинув тлен,
Былою жизнью оживится,
И вспять течет река времен;
И снова край отчизны зрится,
Богатырями населен.

И озеро с природой в бое
Мне кажет поле боевое.
В жужжаньи ветра слышу я
Свист стрел, ломление копья,
Булата звонкое крушенье,
И ратных клик, и битвы гром,
И вновь в ударе роковом
Коней и всадников паденье.

О Пейпус, Пейпус! Сколько раз смывало ты с берегов своих кровь германскую и русскую! Сколько раз твои волны и льдяное покрывало твое багрились ею! .. .. В 1241 году немцы завладели Псковом; герой Невский, соединясь с братом Андреем, присланным от заботливого их родителя, незабвенного Ярослава, вместе с новогородцами, с низовцами, ударил на них, выбил из Пскова, с уроном прогнал восвояси и далеко повоевал, выжег землю Орденскую. Магистр, по прошлогоднему опыту ведая, с кем ведаться должно, поднялся со всеми епископами, вооружил чудь и емь, подкрепился норвежцами (мурманами) и лишь тогда только двинул тяжкую силу свою на разгром легких дружин князя. Между тем Невский не уходил, но возвращался. Послышав приближение магистра, он обратился к нему навстречу; сошел на озеро и устроил полки, примкнув левым крылом к Узменю, близ Вороньего камня. Это было в субботу 6 апреля. С восходом солнца оба войска двинулись лицом к лицу, немцы близились быстро,

Но Александр оплотом сил
Напор врага остановил.
И вот железною стеною
Сомкнулись вновь германцы к бою.
Ужасен длинных копий ряд,
Не проразима крепость лат;
Как звери лютые их кони
Закованы в литые брони.
...Россиян ужас обуял;
В дружинах мертвое молчанье,
И видно в ратных колебанье,
И страх мечи зачаровал;
Щиты безмолвны; под рукою
Неотразимая стрела
С вещуньей смерти — тетивою,
Как будто страхом замерла.
Но вот пред стихшими полками,
Златой кольчугою звеня,
Нисходит Александр с коня.
С главы слагает шлем узорный;

С молитвой теплой и покорной
Возводит очи к небесам
И песнь воскликнул величаву:
«Не нам, о господи! не нам,
Твоему имени дай славу,
Твоим глаголом победи!»
Уж на коне, уж впереди,
Уж русский вождь в налете быстром,
Как вихорь, сгрянулся с магистром;
И Александрово копье
Сквозь щит, сквозь медь пробило всё —
С плеча скользнув, с петлей сорвало
Шелома твердое забрало;
Вот на лице горит печать,
И конь несет магистра вспять.
И в полк железный наши деды
Ворвались с воплями победы.
И дали рыцари хребет,
И плен, и кровь, и труп их след.
И нет от гибели спасенья
Посереди безбрежных льдов,
И Александр, как ангел мщенья,
Следил, разил, губил врагов. . .

И вешний лед под их стопою
Неровным бегом натружен,
Со треском расступился он,
И разом плещущей волною
Врагов остаток поглощен.

Это не вымысел. В Временнике Софийском летописец, писавший по словам самовидца, входит еще в дальнейшие подробности, может быть, весьма занимательные для историка и стратегика, но которые не всегда дружатся с поэзиею. . . . . .Битва, мною описанная, известна под именем Ледового побоища.

1821

ИЗ ПОВЕСТИ «ЗАМОК ВЕНДЕН»

Золоторогий месяц едва светит сквозь облако; дремлющий лес не шелохнет, и черная тень башен недвижно лежит на поверхности вод. Изредка дуновенье вспорхнувшего ветерка струит складки знамени гермейстерского, и, ниспав, они снова объемлют древко. Одно мерное бренчанье палаша часового раздается по стенам замка. То, опершись на копье, он погружает наблюдательные взоры свои в темную даль, то, в мечтах об оставленной родине, о далекой невесте, напевает старинную песню. Он поет:

О звуки грустные, летите
К моей красавице Бригите!

Давно меня мой добрый конь
Умчал дорогою чужою;
Но не погас любви огонь
Под тяжкой бро́нею стальною.

А ты, в родимой стороне,
Верна иль изменила мне?

В походах дальних, на пирах,
Опершись в боевое стремя,
Ты мне казалася в мечтах.
Я вспоминал былое время
Наяве с милой и во сне;
А ты грустишь ли обо мне?
За честь твоих, Бригита, глаз
Не первый ланец изломался,
И за тебя твой шарф не раз
Моею кровью орошался.

А ты, в далекой стороне,
Готовишь ли награду мне?

Богатый изумруд сверкал
На нежной шее девы пленной, —
Я для тебя его сорвал
Рукой любови неизменной.

Для золота, для красоты
Ужель мне изменила ты?

Я видел смерть невдалеке:
На камнях Сирии печальной
Мой конь споткнулся — и в руке
Меч разлетелся, как хрустальный,
Булат убийственный блистал,
Но я Бригиту призывал!

1821

ЭПИГРАФЫ ИЗ ПОВЕСТИ «РЕВЕЛЬСКИЙ ТУРНИР»

К главе 2-й

На радуге воображенья
Воздушный замок строит он;
Его любви лелеет сон. . .
Но бьет минута пробужденья!

К главе 3-й

В любви, добыче и утрате
Мои права — в моем булате.

К главе 5-й

Летит как вихорь, как огонь,
Пред недвижимым строем;
И пышет златогривый конь
Под будущим героем.

1824 или 1825

ИЗ ПИСЬМА К БРАТЬЯМ

...Я теперь плотно принялся за германизм, на днях кончил Валленштейна и теперь ломаю голову над Фаустом. Если бы сию же минуту не набил я к перу оскомины рассуждениями о них в письме к матушке, то поскучал бы тем же вам; в этот раз, однако ж, баста о словесности, о науках:

Блажен, кто лестною надеждой ободряем
Безвредно всплыть из океана тьмы.
Чего не знаем мы — употребляем,
И невозможно то, что знаем мы.

1828

ИЗ ПОВЕСТИ «ИСПЫТАНИЕ»

...в зале он невольно остановился, увидев и услышав Ольгу, которая, ничего не зная о госте и ничему не внимая вокруг себя, пела следующее, аккомпанируя чистый, выразительный голос свой звуками фортепиана:

Скажите мне, зачем пылают розы
Эфирною душою по весне
И мотылька на утренние слезы
Манят, зовут приветливо оне?
Скажите мне!

Скажите мне, не звуки ль поцелуя
Дают свою гармонию волне?
И соловей, пленительно тоскуя,
О чем поет во мгле и тишине?
Скажите мне!

Скажите мне, зачем так сердце бьется
И чудное мне видится во сне,
То грусть по мне холодная прольется,
То я горю в томительном огне?
Скажите мне!

Ольга умолкла; но князь еще слушал........

ЭПИГРАФ К ГЛАВЕ 3-Й

Вы клятву дали? Эта клятва —
Лишь перелетным ветрам жатва.

ЭПИГРАФ К ГЛАВЕ 4-Й

Для нас, от нас, а, право, жаль:
— Ребра Адамова потомки,
Как светло-радужный хрусталь,
Равно пленительны и ломки.

ЭПИГРАФ К ГЛАВЕ 6-Й

Так! Я — мечтатель, я — дитя,
Мой замок — карты, но не вы ли
Его построили шутя
И, насмехаясь, разорили!

ЭПИГРАФ К ГЛАВЕ 8-Й

Я был отважно хладнокровен;
Но, признаюсь, на утре лет
Не весело покинуть свет
И сердца бой не очень ровен,
Когда вопросом: «Быть иль нет?»
Вам заряжают пистолет.

<1830>

ИЗ ПОВЕСТИ «НАЕЗДЫ»

...Многие из них припевали куплеты, называемые мазуречками, не имеющие между собой никакой связи. Их в Польше бесчисленное множество ходячих, кроме тех, которые импровизируются удалыми танцорами при каждом умиленном личике. На этот раз ограничимся бывшими в устах старика Колонтая:

Милы полякам
Битвы, беседы,
Храброму лаком
Кубок победы!
Любит он звон мечей,
Любит он блеск очей,
Стройные пляски,
Нежные ласки!

Хором

Кубок и сабля,
Сабля и кубок!
Сладостна капля
С розовых губок!

ЭПИГРАФ К ГЛАВЕ 1-Й

В поле, витязь удалой!
Жеребец играет лютый;
С нетерпенья сокол твой
Рвет серебряные путы.
Реет лань в тени елей:
Смычь собак, седлай коней!

ЭПИГРАФ К ГЛАВЕ 2-Й

Однажды по ночи глубокой
Мы слышим воющий набат;
Вдали стенанья, вопль жестокой
И тучи заревом горят. . .
«К коням! седлай, бесценно время,
На пояс меч и ногу в стремя! . .»

ЭПИГРАФ К ГЛАВЕ 4-Й

Я — формалист: люблю я очень
В фарфоре чай, вино — в стекле;
В обеде русском — добрый сочень,
Roast-beef — на английском столе.
Люблю в гостиной вести, фразы;
Люблю в гостинице проказы,
И даже ссоры в злые дни
(Чего нас боже сохрани!).

ЭПИГРАФ К ГЛАВЕ 5-Й

За слово, за надменный взгляд
Рубиться он готов и рад;
О прежней дружбе нет поминок.
И вот на званый поединок
Сошлись; товарищи кругом,
Поклоны — и мечи крестом.

ЭПИГРАФ К ГЛАВЕ 6-Й

Их вера — в колокольном звоне,
Их образованность — в поклоне.

(С польского)

ЭПИГРАФ К ГЛАВЕ 7-Й

Я ль не изведал на веку
Любови терния и розы,
Ее восторг, ее угрозы
И гнева знойную тоску,
И неги сладостные слезы!

ЭПИГРАФ К ГЛАВЕ 8-Й

Ужели сердца тайный страх
Нам — семена грядущей муки?
Ужели вестницей разлуки
Дрожит слеза в твоих очах?

ЭПИГРАФ К ГЛАВЕ 9-Й

Во мгле непробудимой ночи,
Казалось, блещут злые очи,
Внимает влажная стена
И будто шепчет тишина!..
Порой лишь капля водяная
Сквозь плит холодною слезой,
На миг безмолвие смущая,
На звонкий пол спадала мой,
Как память жизни, воли милой,
Цветущих над моей могилой.

ЭПИГРАФ К ГЛАВЕ 10-Й

Жребии в лоне таинственном рока
Зреют, незримы для смертного ока!

<1830>

ЭПИГРАФ К «ВЕЧЕРУ НА КАВКАЗСКИХ ВОДАХ В 1824 ГОДУ»

Зачем от нас могил ужасный клад
Видения и страхи сторожат?

<1830>

ЭПИГРАФ К РАССКАЗУ «СТРАШНОЕ ГАДАНЬЕ»

Давно уже строптивые умы
Отринули возможность духа тьмы;
Но к чудному всегда наклонным сердцем,
Друзья мои, кто не был духоверцем? ..

<1830>

ЭПИГРАФ ИЗ ПОВЕСТИ «ЛЕЙТЕНАНТ БЕЛОЗОР»

К ГЛАВЕ 1-Й

Довольно я скитался в этом мире
Вдали моих отечественных звезд:
Я видел Рим — величия погост,
Британию в морской ее порфире,
Венецию, но Поцелуев мост —
Милее мне, чем Ponte de Sospiri.[1]

<1830>

[1] Известный в Венеции Мост Вздохов близ площади св. Марка, соединяющий палаты дожа с темницами.

ИЗ ПИСЬМА К БРАТЬЯМ

Кончаю почтовый год мой, добрые, нежно любимые братья Николай и Михаил, письмом к вам, заключенникам. Недаром написал я в одном альбоме:

Минувших дней заветный свиток
Хранит лишь бед моих избыток.

И когда я при конце года считаюсь с Кроном, как московский лавочник с хозяином, в барышах у меня остаются одни только щелчки судьбы........

Между 1828 и 1831

ИЗ ПОВЕСТИ «АММАЛАТ-БЕК»

...далека была мысль Аммалата от поля битвы; она орленком носилась над горами Аварии, и тяжко-тяжко ныло сердце разлукою. Звук металлических струн горской балалайки (комус), сопровождаемый протяжным напевом, извлек его из задумчивости: то кабардинец пел песню старинную.

На Казбек слетелись тучи,
Словно горные орлы...
Им навстречу, на скалы
Узденей отряд летучий
Выше, выше, круче, круче
Скачет, русскими разбит:
След их кровию кипит.

На хвостах полки погони;
Занесен и штык, и меч;
Смертью сеется картечь...
Нет спасенья в силе, в броне...
«Бе́гу, бе́гу, кони, кони!»
Пали вы, — а далека
Крепость горного леска! [1]

Сердце наших — русским мета...
На колена пал мулла —
И молитва, как стрела,
До пророка Магомета,
В море света, в небо света,
Полетела, понеслась:
«Иль-Алла, не выдай нас!»

[1] Редко случались примеры, чтобы мы стрелками своими могли выжить горцев из лесу, и потому лес считают они лучшею крепостью. Вся песня переведена почти слово в слово.

Нет спасенья ниоткуда!
Вдруг, по манию небес,
Зашумел далекий лес:
Веет, плещет, катит грудой,
Ниже, ближе, чудо, чудо! ..
Мусульмане спасены
Средь лесистой крутизны!

«Так бывало в старину, — сказал с улыбкою Джембулат, — когда наши старики больше верили молитве, а бог чаще их слушал; но теперь, друзья, лучшая надежда — своя храбрость...»

...Ядра с противоположного берега иногда ложились вкруг бесстрашных горцев; порой разрывало между них гранату, осыпая их землей и осколками, но они не смущались, не прятались и, по обычаю, запели грозно-унылым голосом смертные песни, отвечая по очереди куплетом на куплет.

СМЕРТНЫЕ ПЕСНИ

Хор

Слава нам, смерть врагу,
Алла-га, Алла-гу!

Полухор

Плачьте, красавицы, в горном ауле,
Правьте поминки по нас:
Вслед за последнею меткою пулей
Мы покидаем Кавказ.

Здесь не цевница к ночному покою,
Нас убаюкает гром;
Очи не милая черной косою —
Ворон закроет крылом!
Дети, забудьте отцовский обычай:
Он не потешит вас русской добычей!

Второй полухор

Девы, не плачьте; ваши сестрицы,
Гурии, светлой толпой,
К смелым склоняя солнца-зеницы,
В рай увлекут за собой.

Братья, вы нас поминайте за чашей:
Вольная смерть нам бесславия краше!

Первый полухор

Шумен, но краток вешний ключ!
Светел, но где он — зарницы луч?
Мать моя, звезда души,
Спать ложись, огонь туши!
Не томи напрасно ока,
У порога не сиди,
Издалека, издалека
Сына ужинать не жди.

Не ищи его, родная,
По скалам и по долам:
Спит он. . . ложе — пыль степная,
Меч и сердце пополам!

Второй полухор

Не плачь, о мать! Твоей любовью
Мне билось сердце высоко,
И в нем кипело львиной кровью
Родимой груди молоко;
И никогда нагорной воле
Удалый сын не изменял:
Он в грозной битве, в чуждом поле,
Постигнут Азраилом, пал.
Но кровь моя на радость краю
Нетленным цветом будет цвесть,
Я детям славу завещаю,
А братьям — гибельную месть!

Хор

О братья! Творите молитву;
С кинжалами ринемся в битву!
Ломай их о русскую грудь. . .
По трупам бесстрашного путь!
Слава нам, смерть врагу,
Алла-га, Алла-гу!

Поражены каким-то невольным благоговением, егеря и казаки безмолвно внимали страшным звукам их песен. . .

[illegible]

[illegible]

Пейте [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

На [illegible] не [illegible] родно

Нас [illegible] [illegible]

Ох не [illegible] [illegible],

[illegible] [illegible] [illegible].

[illegible]! [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]!

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible].

Не [illegible] [illegible]

Ни [illegible] не [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

И [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [redacted] [illegible]
По [redacted] и подоспели —
[redacted]
[illegible]
От [redacted] [illegible] [illegible]
[illegible] — [illegible]
[redacted]
[illegible]
[redacted] [illegible] —
[illegible] [redacted]
[redacted] [illegible] [illegible]
[illegible]
Алла за — Аллаху...
[illegible] Дым не исчез — в [illegible]
[redacted]
[illegible]

[illegible]
[redacted] [illegible]
[redacted]
[illegible] [illegible] [redacted] [illegible] [illegible]
[illegible]

32 [redacted]
[illegible] [redacted] [illegible]

ЭПИГРАФ К ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ ГЛАВЫ 3-Й

Под рукою изобилья
Каплет негой виноград.
Ветки веют, словно крылья,
Воды песнию звучат.
Гор венцы пылают златом,
Ветер шепчет ароматом
Сердцу путника: «Живи
Для природы и любви».

1831

ЭПИГРАФ К ОЧЕРКУ «КРАСНОЕ ПОКРЫВАЛО»

Любви на сердце отраженье —
Небесной радуги цвета:
Она ярка, она чиста,
Она свята, как вдохновенье!

<1831>

ИЗ РАССКАЗА «ЛАТНИК»

...всякий раз, склоняя голову на подушку, я обнимал ее, как друга-чародея, который унесет меня к милым.

Отрадно плыть во сне туманной Летой,
Забыв часов бряцающую медь;
В видениях пожить вне жизни этой
И без кончины умереть!

Моралисты сулят покой несчастным за дверью гроба. Зачем ходить так далеко? Сон есть лучший уравнитель в жизни...

<1831>

ИЗ ПИСЬМА К К. А. ПОЛЕВОМУ

...Я готов, право, схватить Пушкина за ворот, поднять его над толпой и сказать ему: стыдись! Тебе ли, как болонке, спать на солнышке перед окном, на пуховой подушке детского успеха? Тебе ли поклоняться золотому тельцу, слитому из женских серег и мужских перстней, — тельцу, которого зовут немцы маммон, а мы, простаки, свет? Ужели правда и для тебя, что

Бывало, бес, когда захочет
Поймать на уду мудреца,
Трудится до поту лица,
В пух разорить его хлопочет.
Теперь настал светлее век,
Стал крепок бедный человек —
Решенье новое задаче
Нашел лукавый ангел тьмы:
На деньги очень падки мы,
И в наше время наипаче
Бес губит — *делая богаче.*

Но богаче ли он или хочет только стать богаче?

<1833>

ЭПИГРАФ К ОТРЫВКУ «ОН БЫЛ УБИТ»

От праха взят, ты снова станешь прахом!
Но вечно ли? Но весь ли я? Мой взор,
Неведомым одолеваем страхом,
Таинственный читает приговор.
Ужели дух и мысли чада света
Не убегут тлетворного завета?

Между 1828 и 1835

ИЗ ПОВЕСТИ «МУЛЛА-НУР»

...Призывание дождя заключалось обыкновенно припевом...

Гюдуль, Гюдуль, добро пожаловать!
Вослед тебя дождик идет!
Встань, красавица, на ноги,
Поди пополнить свой ковш.

...Кичкене резво схватила бубен, висевший на стене, и, колебля его звонки между расцвеченными хной пальчиками, вместо ответа пропела известную песню — «Пенджарая гюн тюшты»:

Для чего ты, луч востока,
Рано в сень мою запал?
Для чего ты стрелы ока
В грудь мне, юноша, послал?

Светит взор твой — не дремлю я;
Луч блеснул — и сон мой прочь.
Так, сгорая и тоскуя,
Провожу я день и ночь!

У меня ли бархат — ложе,
Изголовье — белый пух,
Сердце — жар; и для кого же,
Для кого, бесценный друг?

Между 1830 и 1836

АГИТАЦИОННЫЕ ПЕСНИ А. А. БЕСТУЖЕВА И К. Ф. РЫЛЕЕВА

Ах, где те острова,
Где растет трынь-трава,
Братцы!

Где читают Pucelle
И летят под постель
Святцы.

Где Бестужев-драгун
Не дает карачун
Смыслу.

Где наш князь-чудодей
Не бросает людей
В Вислу.

Где с зари до зари
Не играют цари
В фанты.

Где Булгарин Фаддей
Не боится когтей
Танты.

Где Магницкий молчит,
А Мордвинов кричит
Вольно.

Где не думает Греч,
Что его будут сечь
Больно.

Где Сперанский попов
Обдает, как клопов,
Варом.

Где Измайлов-чудак
Ходит в каждый кабак
Даром.

1823 (?)

Ты скажи, говори,
Как в России цари
Правят.

Ты скажи поскорей,
Как в России царей
Давят.

Как капралы Петра
Провожали с двора
Тихо.

А жена пред дворцом
Разъезжала верхом
Лихо.

Как курносый злодей
Воцарился по ней.
Горе!

Но господь, русский бог,
Бедным людям помог
Вскоре.

1823 (?)

Ах, тошно мне
И в родной стороне;
Всё в неволе,
В тяжкой доле,
Видно, век вековать.

Долго ль русский народ
Будет рухлядью господ,
И людями,
Как скотами,
Долго ль будут торговать?

Кто же нас кабалил,
Кто им барство присудил
И над нами,
Бедняками,
Будто с плетью посадил?

Глупость прежних крестьян
Стала воле в изъян,
И свобода
У народа
Силой бар задушена.

А что силой отнято,
Силой выручим мы то.
И в приволье,
На раздолье
Стариною заживем.

А теперь господа
Грабят нас без стыда,
И обманом
Их карманом
Стала наша мошна.

Они кожу с нас дерут,
Мы посеем — они жнут.
Они воры,
Живодеры,
Как пиявки, кровь сосут.

Бара с земским судом
И с приходским попом
Нас морочат
И волочат
По дорогам да судам.

А уж правды нигде
Не ищи, мужик, в суде.
Без синюхи
Судьи глухи,
Без вины ты виноват.

Чтоб в палату дойти,
Прежде сторожу плати,
За бумагу,
За отвагу,
Ты за всё, про всё давай!

Там же каждая душа
Покривится из гроша.
Заседатель,
Председатель
Заодно с секретарем.

Нас поборами царь
Иссушил, как сухарь;
То дороги,
То налоги,
Разорил нас вконец.

И в деревне солдат,
Хоть и, кажется, наш брат,
В ус не дует
И воюет,
Как бы в вражеской земле.

А под царским орлом
Ядом потчуют с вином.
И народу
Лишь за воду
Велят вчетверо платить.

Чтобы нас наказать,
Господь вздумал ниспослать
Поселенье
В разоренье,
Православным на беду.

Уж так худо на Руси,
Что и боже упаси!
Всех затеев
Аракчеев
И всему тому виной.

Он царя подстрекнет,
Царь указ подмахнет.
Ему шутка,
А нам жутко,
Тошно так, что ой, ой, ой!

А до бога высоко,
До царя далеко,
Да мы сами
Ведь с усами,
Так мотай себе на ус.

1823 (?)

Царь наш — немец русский
Носит мундир узкий.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Царствует он где же?
Всякий день в манеже.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Прижимает локти,
Прибирает в когти,
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Царством управляет,
Носки выправляет.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Враг хоть просвещенья,
Любит он ученья.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Школы все — казармы,
Судьи все — жандармы.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

А граф Аракчеев
Злодей из злодеев!
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Князь Волконский баба
Начальником штаба.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

А другая баба
Губернатор в Або.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

А Потапов дурный
Генерал дежурный.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Трусит он законов,
Трусит он масонов.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Только за парады
Раздает награды.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

А за комплименты —
Голубые ленты.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

А за правду-матку
Прямо шлет в Камчатку.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Между сентябрем 1823 и апрелем 1824

ПОДБЛЮДНЫЕ ПЕСНИ

1

Слава богу на небе, а свободе на сей земле!
Чтобы правде ее не изменяваться,
Ее первым друзьям не состареться,
Их саблям, кинжалам не ржаветься,
Их добрым коням не изъезживаться.
Слава богу на небе, а свободе на сей земле!
Да и будет она православным дана. Слава!

2

Как идет мужик из Нова́города́,
У того мужика обрита борода;
Он ни плут, ни вор, за спиной топор;
А к кому он придет, тому голову сорвет.
Кому вынется, тому сбудется;
А кому сбудется, не минуется. Слава!

3

Вдоль Фонтанки-реки
Квартируют полки,
Квартируют полки
Всё гвардейские.

Их и учат, их и мучат
Ни свет ни заря,
Что ни свет ни заря,
Для потехи царя!
Разве нет у них рук,
Чтоб избавиться мук?
Разве нет штыков
На князьков-сопляков?
Разве нет свинца
На тирана-подлеца?
Да Семеновский полк
Покажет им толк.
Кому вынется, тому сбудется;
А кому сбудется, не минуется. Слава!

4

Сей, Маша, мучицу, пеки пироги:
К тебе будут гости, к тирану враги,
Не с иконами, не с поклонами,
А с железами, да с законами.
Что мы спели, не минуется ему,
И в последний раз крикнет: быть по сему!

5

Уж как на небе две радуги,
А у добрых людей две радости:
Правда в суде, да свобода везде.
Да и будут они россиянам даны. Слава!

6

Уж вы вейте веревки на барские головки,
Вы готовьте ножей на сиятельных князей;
И на место фонарей поразвешивать царей!
Тогда будет тепло, и умно, и светло. Слава!

7

Как идет кузнец да из кузницы. Слава!
Что несет кузнец? Да три ножика.
Вот уж первой-то нож на злодеев вельмож,
А другой-то нож — на попов, на святош.
А молитву сотворя — третий нож на царя.
    Кому вынется, тому сбудется;
    А кому сбудется, не минуется. Слава!

Декабрь 1824 или январь 1825

Подгуляла я.
Нужды нет, друзья,
Это с радости,
    Это с радости.

Я, свободы дочь,
Со престолов прочь
Императоров,
    Императоров.

На свободы крик
Развяжу язык
У сенаторов,
    У сенаторов.

1824 или 1825

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПРИПИСЫВАЕМЫЕ А. А. БЕСТУЖЕВУ

ИЗВЕЩЕНИЕ

(Из Парни)

Лишь своею ризой темной
Ночь сокроет свет от глаз,
Лишь на башне отдаленной
Полночи ударит час,
Удовольствия толпою
Соберутся в терем твой
И утехи чередою
Все явятся пред тобой,
И пребудут до рассвета
У тебя, моя Лилета!
Но когда бы день златой
Нам заря не возвещала,
То другая б ночь застала,
Верно, их еще с тобой.

<1818>

ЗАВТРА!

К ЛИЛЕ

(Из Парни)

Меня ты лаской забавляешь
И беспрестанно обещаешь. . .
Но обещанья, как листок,
Резвясь, уносит ветерок.
Ты всякий день твердишь, Лилета:
Приду я *завтра* до рассвета.
Но, как наступит мрачна ночь,
Утехи и любовь стыдливость гонит прочь.
Ты снова *завтра* повторяешь,
Теперь ты даром обладаешь
Казаться новой с каждым днем.
Но время быстрое крылом
Тебя коснется мимоходом —
Дурнеть ты будешь с каждым годом;
Ты *завтра ж* станешь увядать,
И *завтра* же тебя начну я забывать.

<1818>

БЕСПЕЧНЫЙ

Пускай твердят, что нет примера
Глупцу, который всё бранил;
Что он таланты помрачил
И Еврипида, и Гомера.
Что до того мне за нужда?
Смеюсь я дерзости Вольтера —
Что до того мне за нужда,
Пою иль пью вино когда?

Пускай капризом превышает
Темира самый нрав дурной;
Пусть Хлоя с низкою душой
Пороки все соединяет.
Что до того мне за нужда?
Меня Лилета утешает —
Что до того мне за нужда,
Пою или пью вино когда?

Пусть Бригадиршу побужденье
С Лаисой в дружбу завлечет;
Пусть к черту хоть ее пошлет
Муж добрый, потеряв терпенье.
Что до того мне за нужда?
К подобным сердца есть влеченье —
Что до того мне за нужда,
Пою иль пью вино когда?

В одежде будет пусть богатой
Глупец, как с пропуском, ходить;

Пускай судья щеголеватый
Закон не может затвердить.
Что до того мне за нужда?
Я стряпчий, право, плоховатый —
Что до того мне за нужда,
Пою иль пью вино когда?

Пусть дева зрелая ругает,
За то зовет развратным свет,
Что на старухе в сорок лет
Никто жениться не желает.
Что до того мне за нужда?
Меня женитьба не прельщает —
Что до того мне за нужда,
Пою иль пью вино когда?

Пусть в восхищение приходят
От Л. . . . на сцене вод;
Пускай словесники, народ
Их превосходными находят.
Что до того мне за нужда?
Они мне скуку лишь наводят —
Что до того мне за нужда,
Пою или пью вино когда?

Дурак пусть златом обладает
И ото всех за то любим;
Пусть наводненьем дождевым
Астроном свету угрожает.
Что до того мне за нужда,
Что глупый землю потопляет? —
Что до того мне за нужда,
Пою иль пью вино когда?

Князь N, Лилетой обладая,
Пусть не жалеет кошелька;
Пускай она исподтишка
Ощиплет Мидаса, лаская.
Что до того мне за нужда?
Я счастлив, Лилу обожая,
Что до того мне за нужда,
Пою иль пью вино когда?

Пусть, получив безделку эту,
Издатель, прочитав, сожжет
Иль удостоит и прочтет,
И показать захочет свету.
Что до того мне за нужда?
Я восхищаю ей Лилету —
Что до того мне за нужда,
Пою иль пью вино когда?

<1818>

К СОЧИНИТЕЛЮ ПОЭМЫ «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»

Скажи мне, отважный питомец Камен,
Покроется ль сильный бессмертною славой,
Когда не искусит он крепких рамен
За ближних и братий на сече кровавой?
Когда, препираясь с могущим врагом
О жизни и чести, он твердой рукою
Из вражеской выи широким мечом
Не вырвет победы с надменной душою,
Но мужества пылкость во тьме утаит
И в сенях пустынных крылатые стрелы,
За робкою ланью гонясь, расточит?
Ему ли дубрава положит пределы?
Смотри, как рыдает бесстрашный Эней,
В час бури жестокой объятый волнами.
Не слезы жен слабых из гордых очей
По медным доспехам катятся струями
И кровь с них смывают ахейских дружин.
Он плачет о поздней, о праздной кончине!
Почто от пергамских героев один
Не пал он за Трою на бранной равнине!
Вот слезы великих! Быть может, певец,
И ты, исторгаясь из смертного круга
И взором недвижным признавши конец,
Не раз проливал их на ложе недуга?
И видел, как юноши с гордым челом,
Не трогаясь тайным и тяжким томленьем,
Молчали и, стоя пред смертным одром,
На славные слезы смотрели с презреньем.

Все знают, что людям из жизни земной
Ничто не потребно за пыльной могилой,
Но избранных сердце, отвергнув покой,
Бессмертие зиждет над жизнию хилой.
А сколько потребно для смерти трудов?
И сколько деяний для истинной славы?
Почто же восторги священных часов
Ты тратишь для песней любви и забавы?
И, вслед за толпою туманным путем
Сбежавши в бесплодную область видений,
Ты хочешь, чтоб в мраке холодным перстом
Бесценное время отсчитывал гений.
Дни юности дважды, певец, не придут!
Утраченным чувствам не будет возврата!
И жадный Кронион протекших минут
Не выдаст за цену всесильного злата!
Оставь притупленным и праздным душа́м
Отгнать беззаботно их срочное время!
Оставь сладострастье коварным жена́м!
Сбрось чувственной неги позорное бремя!
Пусть бьются другие в волшебных сетях
Ревнивых прелестниц, — пусть ищут другие
Награды с отравой в их хитрых очах!
Храни для героев восторги прямые!
Согрей их лучами возвышенных дел
И стройной красою изящного мира,
И доблести строгой дай лиру в удел,
И доблестью строгой прославится лира!
О, если б мой юный и слабый язык,
Коснеющий рано на ложе страданья,
В твое вдохновенное сердце проник!
О, если б, как в прахе взя́тые стяжанья,
Нам было возможно наш дух завещать!
К тебе бы прибегнул я с теплой мольбою
О сиром герое. Тебе передать
Желал бы я душу с привычной мечтою:
Быть может, грядущих времен исполин,
Пленяся высокою песней твоею,
Как древле Филиппа бестрепетный сын,
Пришел поклониться б к второму Пелею.

<1822>

‹НАДПИСЬ НА «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЕ»›

Тоска мне душу обуяет,
Как пташке сирой без гнезда...
И мне вовек не засияет
Моя померкшая звезда.

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА СМЕРТЬ ПУШКИНА

(Перевод поэмы Мирзы Фатали Ахундова)

Не предавая очей сну, сидел я в темную ночь и говорил своему сердцу: О родник жемчужин тайны! Отчего забыл песни соловей цветника твоего? Отчего замолк попугай твоего красноречия?

Отчего сталось, что запал путь твоей поэзии? Отчего сталось, что гонец мечтаний твоих остановился?

Взгляни кругом — наступила весна, и все растения красуются юною прелестью, словно девы! Берега ручейков, бегущих по лугу, подернулись фиалками. Огнистые почки розы вспыхнули в цветниках. Степь изукрашена, как невеста: угорье, мнится, собрало все цветы в полу свою, чтобы осыпать ее ими, как драгоценными камнями.

В невозмутимом величии, в короне цветов, как царь, возвышается дерево посреди сада, а лилия и ясмин, будто вельможи, пьют в честь его росу из чашечек тюльпана.

Луг до того ярко блещет ясминами, что от взора на него помутились очи упоенного нарцисса. Приветливый соловей несет в дар гостю листик розы.

Готово облако обрызнуть цветник дождем, а ветерок — отдать ему свое благоухание.

Сладко поют птички: красавица-зелень, прогляни из-под фаты праха!

Все живое знакомо с каким-нибудь художеством — от каждого есть приношение на торжище природы.

Одно величается красотою или пленительными взорами, другое — стенанием выражает любовь свою. Всё те-

перь наслаждается и веселится, распростившись с печалью.

Всё, кроме тебя, сердце мое. Не участник ты в общей радости и восторге; не просыпаешься ты из безмолвия.

И в глубине твоей нет ни к чему склонности, нет ни к кому любви. Далеко ты от страсти к славе и от мечты к поэзии.

Разве ты не то самое сердце, что погружалось в море мыслей, на ловлю стихов, подобных жемчужинам царским, и дарило целые нити их, в украшение тысячами игривых выражений, будто красавицам?

Откуда же теперь печаль твоя? Не знаю. Для чего теперь ты стенаешь и сокрушаешься, как плакальщица похоронная?

Отвечало на это сердце: Товарищ моего одиночества, оставь меня теперь самому себе.

Если б я, наравне с красавицами луга, не ведало, что за вешним ветерком дуют вихри осенние, о, тогда я препоясало бы мечом сло́ва стан наездника поэзии на славную битву; но мне знакомо вероломство судьбы и жестокость этой изменницы. Я предвижу конец мой.

Безумна птица, которая, однажды увидев сеть своими глазами, для зерна вновь летит на опасность!

Что такое гром славы, что такое хвала за доблести, как не отклики звуков внутри этого коловратного свода! Не говори мне о поэзии! Я не знаю, чем это небо награждает своих поклонников.

Разве ты, чуждый миру, не слыхал о Пушкине, о главе собора поэтов? О том Пушкине, которому стократно гремела хвала со всех концов света за его игриво текущие песнопения! О том Пушкине, от которого бумага жаждала потерять свою белизну, лишь бы его перо рисовало черты на лице ее!

В мечтаниях его, как в движении павлина, являлись тысячи радужных отливов словесности.

Ломоносов красотами гения украсил обитель поэзии — мечта Пушкина водворилась в ней. Державин завоевал державу поэзии, но властелином ее Пушкин был избран свыше.

Карамзин наполнил чашу вином знания — Пушкин выпил вино этой полной чаши. Разошлась слава его по Европе, как могущество царское от Китая до Татарии.

Светлотою ума был он любимцем Севера — так, как взор молодой луны драгоценен Востоку.

Такого остроумного, такого даровитого сына не рождали доселе четыре матери от семи отцов.

С удивлением теперь внимай мне: эти родители не устыдились быть к нему жестокосерды.

Прицелились в него смертной стрелой. Исторгли корень его бытия. Черная туча по воле их одною градиною побила плод его жизни. Грозный ветер гибели потушил светильник его души. Как тюрьма стало мрачное его чело.

Старый садовник — свет пересек его стан безжалостною секирою, как юную ветку своего цветника.

Глава его, в которой таился клад ума, волей змеенравного рока стала виталищем змей. Из сердца, подобного розе, в которой пел соловей его гения, растут теперь тернии. Будто птица из гнезда, упорхнула душа его — и все, стар и млад, сдружились с горестью. Россия в скорби и воздыхании восклицает по нем: Убитый злодейской рукой разбойника мира!

Итак, не спас тебя от оков колдовства этой старой волшебницы-судьбы талисман твой. Удалился ты от земных друзей своих — да будет же тебе в небе другом милосердие божие! Бахчисарайский фонтан шлет тебе, с весенним зефиром, благоухание двух роз твоих. Седовласый старец Кавказ отвечает на песнопения твои стоном в стихах Сабухия.

1837

ПРИМЕЧАНИЯ

Стихотворные произведения А. А. Бестужева-Марлинского, разбросанные в журналах и альманахах, при жизни автора ни разу не были собраны и изданы отдельно. Только после гибели поэта-декабриста вышла в свет часть 11-я «Полного собрания сочинений» (начатого под заглавием «Русские повести и рассказы») — «Стихотворения и полемические статьи» (СПб., 1838). Здесь были напечатаны: незаконченная повесть в стихах «Андрей, князь Переяславский» (две первые главы и два отрывка из незаконченной пятой) и 28 стихотворений. Ряд стихотворений, опубликованных самим Бестужевым в журналах, оказался невключенным, но зато 12 стихотворений появилось здесь впервые. В подготовке издания принимала участие сестра поэта, Е. А. Бестужева, в распоряжении которой были его автографы, по большей части не дошедшие до нас. Это определило авторитетность издания, несмотря на несомненные его недостатки: помимо неполноты, в издании не выдержан хронологический порядок расположения материала, не всегда правильна и точна датировка, а некоторые вещи даны в искаженных или сокращенных редакциях, что объясняется или вмешательством цензуры, или недосмотром.

Собрание стихотворений Бестужева, осуществленное в 1838 г., служило источником неоднократных перепечаток в позднейших изданиях сочинений Бестужева.

В первом научном издании стихотворных произведений А. А. Бестужева-Марлинского (Собрание стихотворений. Подгот. текста Г. В. Прохорова. Вступ. статья, редакция и примечания Н. И. Мордовченко. Л., 1948. «Библиотека поэта». Большая серия), кроме поэмы «Андрей, князь Переяславский», были помещены 53 стихотворения; помимо этого помещены были некоторые стихотворения, извлеченные из писем Бестужева и его прозаических произведений, агитационные песни, созданные им совместно с К. Ф. Рылеевым, и, наконец, прозаический перевод поэмы М. Ф. Ахундова «На смерть Пушкина».

За прошедшее десятилетие были обнаружены и опубликованы стихотворение Бестужева «Михаил Тверской», несколько неизвестных агитационных «подблюдных» песен и новые, более полные варианты текстов ранее известных агитационных песен. Кроме того, в настоящем издании помещены: одно незаконченное стихотворение Бестужева

(«Вечерел в венце багряном...»), стихотворные эпиграфы к прозаическим произведениям и небольшие стихотворные вставки, встречающиеся в письмах и повестях Бестужева; от всех этих материалов редакторы издания 1948 г. отказались. Помещен также эпиграф к одной из глав «Аммалат-бека» из первоначальной редакции повести.

Остались неразысканными стихотворения «Взоры» и «Прогулка по Лене», упомянутые Бестужевым в собственноручном перечне его напечатанных произведений (Рукописный отдел Института русской литературы Академии наук СССР, ф. 604, № 12/5581, л. 168 об.) Не разыскано стихотворение, строки из которого были взяты Бестужевым в качестве эпиграфа к отрывку «Он был убит».

В специальном разделе «Стихотворения, приписываемые Бестужеву» помещено 5 стихотворений, для которых возможность авторства Бестужева редакторами издания 1948 г. отрицалась. Как и в издание 1948 г., в настоящий сборник не вошли: 1) детское стихотворение Бестужева «Летит Борей...» (Рукописный отдел Института русской литературы Академии наук СССР, ф. 604, № 4/5573, лл. 87—88) и 2) песня «Что не ветер шумит во сыром бору», дума «Прокаженный» и «Утренняя песнь (Из Кампе)», опубликованные под именем А. А. Бестужева в «Собрании стихотворений декабристов» (Лейпциг, 1862, стр. 183—187); первое из этих произведений, как известно, принадлежит М. А. Бестужеву, а последние два совершенно не соответствуют стилистической манере А. А. Бестужева, — никаких же, даже предположительных или косвенных данных о принадлежности их ему нет. Не включена также приписанная Бестужеву неким Ч., без какой-либо аргументации, эпиграмма на строителя Кругобайкальской дороги, инженера Чертова (см. «Справочный листок города Казани», 1867, № 140).

Автографы стихотворений А. А. Бестужева дошли до нас в очень незначительном количестве. Часть автографов, а также авторитетных копий была учтена при подготовке издания 1948 г. (преимущественно из числа сохранившихся в архиве семьи Бестужевых в Институте русской литературы Академии наук СССР (ф. 604) и в собрании бумаг братьев Бестужевых в Гос. Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ф. 69). Для настоящего издания все тексты заново проверены по рукописям и первым публикациям, в том числе и по оставшимся неизвестными редакторам издания 1948 г.

В примечаниях к отдельным произведениям специальные указания на источник печатаемого текста даются только в случаях расхождения текстов в различных источниках.

Стихотворения в данном сборнике распределены по трем разделам. Во второй раздел вошли все стихотворения, извлеченные из писем и прозаических произведений Бестужева; включены сюда и эпиграфы, источник которых не был указан Бестужевым, однако предполагать их автором Бестужева есть все основания: известно, что он пользовался для этой цели своими стихами, часть эпиграфов находится в черновых автографах, большинство из них написаны в типичном «бестужевском стиле»; заглавия в этом разделе даны редактором. В третьем разделе помещены агитационно-сатирические песни, бóльшая часть которых написана совместно с К. Ф. Рылеевым.

В каждом из разделов стихотворения расположены, насколько это

возможно, в хронологической последовательности. Предположительные даты сопровождаются знаком: (?). Даты, заключенные в угловые скобки, обозначают год, позже которого стихотворение не могло быть создано (дата первой публикации, дата письма и т. д.). Все остальные датировки либо имеются в автографах или авторитетных списках и публикациях, либо точно установлены.

Слова, зачеркнутые в рукописи, воспроизводятся в квадратных скобках; слова, восстановленные по смыслу, — в угловых скобках.

Ниже, в примечаниях, фамилия А. А. Бестужева указывается сокращенно: Б.

Примечания для данного издания пересмотрены и вновь дополнены. Примечания к агитационным песням, а также к стихотворениям, отсутствовавшим в издании 1948 г., написаны заново.

Условные сокращения, принятые в примечаниях

ГПБ — Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Отдел рукописей.

Дек. — сб. «Декабристы и их время». Л., 1951.

изд. 1948 г. — А. Бестужев-Марлинский. Собрание стихотворений. Л., 1948 (Большая серия «Библиотеки поэта»).

ИРЛИ — Институт русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом). Рукописное отделение.

ЛГ — «Литературная газета».

МТ — «Московский телеграф».

ПД — сб. «Памяти декабристов». Л., 1926.

ПСС — Полное собрание сочинений А. Марлинского, т. 11. СПб, 1838.

РВ — «Русский вестник».

С — «Соревнователь просвещения и благотворения».

СО — «Сын отечества».

А. БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ

I

«Близ стана юноша прекрасный...» (стр. 51). Впервые — изд. 1948 г., стр. 14—15, по копии рукой Е. А. Бестужевой (ИРЛИ, ф. 604, № 11/5580, л. 7).

«Себе любезного ищу...» (стр. 53). Впервые — изд. 1948 г., стр. 12—14, по копии рукой Е. А. Бестужевой (ИРЛИ, ф. 604, № 11/5580, лл. 6—6 об.).

Дух бури (стр. 55). Перевод отрывка из оды Ж.-Ф. Лагарпа «La Navigation». Впервые — СО, 1818, № 31, стр. 228—229, с подписью: А. Бес-ж-в. В ПСС не вошло. Принадлежность Б., помимо прозрачного криптонима, подтверждается указанием самого Б. в связи с просьбой о разрешении на издание журнала «Зимцерла». В переведенном отрывке Лагарп вольно изложил один из главных

эпизодов поэмы Л. Камоэнса «Лузиады»; описывается появление перед кораблями Васко да Гама, огибающими мыс Бурь (Доброй Надежды), духа мыса Бурь Адамастора. Именно этот отрывок Лагарп привел в комментариях к своему прозаическому переводу «Лузиад» (Paris, 1776). *Мелинда* — торговая гавань арабов на восточном берегу Африки, важный этап путешествия Васко да Гама.

К К<реницын>у (стр. 57). Впервые — изд. 1948 г., стр. 4—5, по автографу (архив «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств» в Научной библиотеке им М. Горького при Ленинградском гос. университете, по оп. 214). Подпись: А. Б., датировано. Эпикурейские мотивы послания восходят к лирике Горация. *Креницын* Александр Николаевич (1801—1865), приятель Б. и Е. А. Баратынского, поэт, воспитанник Пажеского корпуса, исключенный в 1820 г. и определенный в рядовые за участие в так называемом Арсеньевском бунте пажей. *Люстр* (лат.) — пять лет.

Шарады (стр. 59). Впервые — С, 1819, № 10, стр. 87, с подписью: А. Б. В ПСС не вошло. Разгадка шарад: 1) Агафон, 2) Арак и дурак.

Подражание первой сатире Буало (стр. 60). Впервые — «Литературный архив», № 1, М.—Л., 1938, стр. 411—414, публикация по списку (ГПБ, ф. 69, № 2, лл. 7—9), ошибочно принятому за автограф Б. Там же (лл. 36—38 об.) писарская копия с него. В изд. 1948 г. — несколько иной текст, по копии рукой Е. А. Бестужевой (ИРЛИ, ф. 604, № 11/5580, лл. 7—9, датировано). Сохранился также список начала 1820-х годов в делах б. Военно-ученого комитета (Центральный гос. военно-исторический архив, ф. 410, № 34, лл. 1—2 об.), любезно указанный Л. В. Домановским. На списке — сведения о Б. рукой Н. В. Каразина. Копия этого списка находилась также в бумагах Каразина в «Комитете 6 декабря 1826 года». Ясно, что список этот — еще одно свидетельство осведомительной деятельности Каразина. Все три списка не вполне исправны. Поэтому, хотя в основу печатаемого текста положен список Центрального военно-исторического архива, однако в него внесены исправления по обоим другим. Наиболее существенные разночтения:

ст. *21* Везде, хваля себя, твердит: «Чтоб жить безбедно,

ст. *23* Пусть царствуют они в продажной стороне

ст. *26* Нет! К возвышению постыдно пресмыкаться

ст. *42* Давно, весьма давно не носят средь столицы

ст. *43* Высокомерие — законно богачам

ст. *59* С бесценным даром сим для авторов знаком

ст. *65* Астреи могут ждать теперь наук пенаты

ст. 67 Опорой слабого кто здесь захочет быть

ст. 70 Сих жалких авторов восторгов всенародных
Сих жалких Левиев восторгов всенародных.

ст. 71 На коих иногда струится дождь щедрот

ст. 72 Шмели у пчел всегда снедают сладкий сот

ст. 74 Без покровителей напрасно дарованье

ст. 82 Лишь в смерти обретать от бедности спасенье

ст. 87 Вовеки будет чтим с шутами наравне
Едва ль, едва ли чтим с шутами наравне

ст. 91 И локтями сметать чернильные столы
И локтями стирать чернильные столы

ст. 93 В хаосе крючкотворств бессмысленных блуждая

ст. 105 Но что же медлим здесь? Оставим град развратный

ст. 108 С заслугой к счастию идут одним путем

ст. 115 Где роскоши одной является успех

ст. 117 И где к их пагубе взнеслися горделиво

ст. 122 И кто в улику им, на путь склонившись правый

ст. 138 И в ясны дни, смеясь несчастных над слезами

Стихотворение было прочитано и одобрено на заседании «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств» в начале 1820 г., но, видимо, не прошло через цензуру и оказалось ненапечатанным. Весьма сочувственный письменный отзыв о стихотворении, сохранившийся в архиве «Вольного общества» (Научная библиотека им. М. Горького при Ленинградском гос. университете, по оп. 161), принадлежал А. Х. Востокову. Б. отбросил начало знаменитой сатиры Буало, опустил личные намеки и приурочил сатиру к русской современности, перенеся действие из Парижа в Петрополь (Петербург). *Катон* Марк Порций Старший (234—149 до н. э.) — политический деятель и писатель древнего Рима. *Персий* Авл Флакк (34—62) — римский поэт-сатирик. *Росский Тит*. Имеется в виду Александр I. С именем римского императора Тита (39—81) связывалось представление о победах и мягком правлении. *Дельфийские оливы* — имеется в виду мир, благоприятствующий искусствам (оливы — символ мира; Дельфы — город в древней Греции, знаменитый святилищем и оракулом Аполлона). *Эрмий* — Гермес (греч. миф.), бог торговли и дорог, вестник богов. *Дедал* — лабиринт, по имени строителя лабиринта на о. Крит (греч. миф.). *Ниноны дух*. Нинон де Ланкло (1615—1705) — французская красавица, знаменитая своим литературным салоном и любовными похождениями. *Весты* (римск. миф.) — богиня

целомудрия. *Астрея* (римск. миф.) — богиня справедливости, обитала на земле в «золотом веке». *Лесний* — римский поэт (I в. до н. э.).

Отрывок из комедии «Оптимист» (стр. 64). Впервые — СО, 1819, № 10, стр. 180—181, с подписью: А. Б., датировано. Вошло в ПСС. В отрывке варьируются мотивы диалогов Альцеста и Филинта в «Мизантропе» Мольера и в особенности тех же персонажей в комедии Фабр д'Эглантина «Филинт Мольера, или Продолжение Мизантропа» (1790). *Крутон* — имя главного героя «Мизантропа» в русском переводе Ф. Кокошкина (у Мольера — Альцест).

К некоторым поэтам (стр. 66). Впервые — «Благонамеренный», 1820, № 7, стр. 56—58, с подписью: А. Ма—ий, датировано, с примечанием: «Читано в собрании С.-Петербургского Общества любителей словесности, наук и художеств 8 ч. сего апреля». Вошло в ПСС. *Бутят* — от глагола «бутить», заваливать яму, ров. *Геликон* — горный массив в Греции, в греч. миф. — обиталище муз.

Эпиграммы (стр. 68). Впервые — «Благонамеренный», 1820, № 6, стр. 422, с подписью: А. Мар. . . . .ий. В ПСС не вошло. Принадлежность Б. подтверждается его собственноручным перечнем напечатанных произведений (ИРЛИ, ф. 604, № 12/5581, л. 168 об.).

Обитель сна (стр. 69). Вольный перевод отрывка из «Метаморфоз» Овидия (книга XI, стихи 592—615). Впервые — С, 1820, № 11, стр. 201—202, с подписью: А. Бестужев. В ПСС не вошло. Печ. с исправлением явной опечатки в тексте С («На Капитолии возникнувший стенах»). За год до Б. перевод всего мифа, вошедшего в книгу XI «Метаморфоз», выполнил В. А. Жуковский — см. «Цеикс и Гальциона (Отрывок из Овидиевых превращений)».

<К Рылееву> (стр. 71). Впервые — «Русская старина», 1893, № 4, стр. 54, публикация по копии, хранившейся в Берлинской королевской библиотеке. Стихотворение является пародией на балладу Жуковского «Замок Смальгольм». «*Поэма*» — вероятно, имеется в виду поэма Рылеева «Войнаровский», которая была посвящена Б. и которую он очень ценил, — см., например, сочувственную оценку поэмы в письме Б. к П. А. Вяземскому от 23 мая 1823 г. («Литературное наследство», № 60, кн. 1. М., 1956, стр. 204) и восторженное упоминание о поэме во «Взгляде на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов». *Плетнев* Петр Александрович (1792—1865) друг Пушкина и Дельвига, поэт и критик, не сочувствовавший направлению творчества Рылеева. «Историю никак не уломаешь в лирическую пиесу, — писал Плетнев Пушкину 22 января 1825 г., — Рылеев это прежде него <Козлова> доказал своими Думами» (Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 13. М., 1937, стр. 134).

Михаил Тверской (стр. 72). Впервые — СО, 1824, № 3, стр. 277—279, с подписью: Б. . . . .в. В ПСС не вошло. Принадлежность Б. установлена в публикации Б. В. Томашевского («Ученые записки Ленинградского государственного университета», № 200, серия

филологических наук, вып. 25. 1955, стр. 205). Сюжетом стихотворения послужила казнь князя Михаила Ярославовича в Орде в 1318 г., описанная в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина (т. 4, 1819, стр. 185 и сл.). В гражданственно-романтической трактовке темы несомненно влияние «Дум» Рылеева. *Узбек* — имя татарского хана Золотой Орды (1312—1342).

<Эпиграмма на Жуковского> (стр. 74). Впервые — сб. «Стихотворения А. С. Пушкина, не вошедшие в последнее собрание его сочинений. Дополнение к 6 томам петербургского издания». Берлин, 1861, стр. 105 — как принадлежащая Пушкину (публикация Н. В. Гербеля). Как пушкинскую сообщил эту эпиграмму в свое время А. Е. Измайлов в письме П. Л. Яковлеву от 10 мая 1825 г. Пушкину эпиграмма приписывалась также В. П. Гаевским в статье «Пушкин в лицее и лицейские его стихотворения» («Современник», 1863, № 8, стр. 363). Вслед за Гаевским эпиграмму приписывали Пушкину позднейшие исследователи. Н. И. Греч в воспоминаниях об А. Ф. Воейкове пишет, что Жуковский считал автором эпиграммы Ф. В. Булгарина, что прочел ее Жуковскому Воейков и что будто бы Жуковский после этого говорил Гречу: «Скажите Булгарину, что он напрасно думал уязвить меня своею эпиграммою; я во дворец не втирался, не жму руки никому. Но он принес этим большое удовольствие Воейкову, который прочитал мне эпиграмму с невыразимым восторгом». В примечании к этому месту своих воспоминаний Греч полностью привел текст эпиграммы, добавив при этом: «По отзывам некоторых лиц, это эпиграмма Пушкина, а по другим — Воейкова» (Н. И. Греч. Записки о моей жизни. Л., 1930, стр. 657). То, что Жуковский действительно слышал какую-то эпиграмму от Воейкова, подтверждается письмом А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому от 22 мая 1825 г., где упомянуто о «мерзкой эпиграмме на чистого и чувствительного Жуковского» и о том, что Воейков «с торжеством поспешил первый прочесть эту эпиграмму Жуковскому» («Остафьевский архив», т. 3. СПб., 1899, стр. 127—128). На принадлежность эпиграммы Б. впервые и притом совершенно определенно указал М. А. Бестужев, включивший эпиграмму в текст своих мемуаров. «Помню, как зашла речь о Жуковском, — писал М. А. Бестужев, — и как многие жалели, что лавры на его челе начинают блекнуть в придворной атмосфере, как от сожаления неприметно перешли к шуткам на его счет. Ходя взад и вперед с сигарами, закусывая пластовой капустой, то там, то сям вырывались стихи с оттенками эпиграммы или сарказма, и наконец брат Александр, при шуме возгласов и хохота, редижировал известную эпиграмму, приписанную впоследствии А. Пушкину. . .» («Воспоминания Бестужевых». М.—Л., 1951, стр. 54). В пользу авторства Б. высказался в старости и П. А. Вяземский, сделавший к эпиграмме (в экземпляре берлинского издания) пометку: «Не Пушкина, а Александра Бестужева, что подтверждается братом его в «Русской старине» Семевского» («Старина и новизна», кн. 8 М., 1904, стр. 37). Печ. по тексту «Воспоминаний Бестужевых», стр. 54. В изд. 1948 г. был принят текст Н. В. Гербеля:

Из савана сделся он в ливрею,
На ленту променял лавровый свой венец,

Не подражая больше Грею,
С указкой втерся во дворец —
И что же вышло наконец?
Пред знатными сгибая шею,
Он руку жмет камер-лакею.
Бедный певец!

А. Е. Измайлов привел эту эпиграмму в несколько иной редакции:

На саван променяв ливрею,
На пудры — лавры и венец,
С указкой втерся во дворец.
И что же вышло наконец?
Пред знатными сгибая шею,
Жмет руку он... камер-лакею.
Бедный певец!

(«Воспоминания Бестужевых» М.—Л., 1951, примечание М. К. Азадовского, стр. 697—698). Датируем эпиграмму 1824 г., так как с января этого года в письмах Б. настойчиво повторяется тот же мотив. В письме к П. А. Вяземскому от января 1824 г.: «Жуковского видел утром у выхода, он здоров, и пудра стала его стихия» («Литературное наследство», № 60, кн. 1. М., 1956, стр. 211—212); в письме к неизвестному от 3 марта 1824 г.: «Жуковский пудрится» («Русская старина», 1889, № 11, стр. 376); в письме к Пушкину от 9 марта 1825 г.: «...это <Байрон в переводах Козлова> лорд в Жуковского пудре» (А. А. Бестужев-Марлинский Сочинения в двух томах, т. 2. М., 1958, стр. 628). В эпиграмме Б. пародируется стихотворение Жуковского «Певец». *С указкой втерся во дворец.* Жуковский обучал русскому языку жену великого князя, будущую императрицу Александру Федоровну.

Алине (стр. 75). Впервые — СО, 1829, № 21, стр. 47—48, без подписи. ПСС, стр. 152—153 — с изменениями, дата: 1829. Печ. по тексту ПСС. Варианты текста СО:

ст. *19* Оковы праха разреша

ст. *27* Забвенья горестей земных

В тексте СО строка точек после ст. 16 отсутствует. В письме из Якутска от 25 января 1829 г., посылая матери и сестре два стихотворения — «Финляндия» и «Алина», Б. отметил, что «1-е написано ныне, 2-е давно» (ПД, 2, стр. 218). Поэтому стихотворение можно датировать только периодом между заключением в Петропавловской крепости и январем 1829 г.

Андрей, князь Переяславский

Несколько слов от сочинителя повести «Андрей, князь Переяславский» (стр. 77). Впервые — МТ, 1832, № 6, стр. 293—300 с подписью: Александр Марлинский. Перепечатано в качестве предисловия к поэме в ПСС, стр. 7—17, с некото-

рыми цензурными и редакционными сокращениями и примечанием «От издателя». Вместо фразы: «его-то избрал я козлом грехоносцем; на него-то навьючил все грехи своего поэтического Израиля» напечатано: «его-то избрал я моим героем; он-то должен был взять на себя все ошибки воспоминания». Целиком опущено авторское примечание, где приведен пример одной типографской ошибки. Вместо: «Что повесть сия напечатана *не только без моего ведома*» и т. д. до конца предисловия — «что повесть сия напечатана без моего ведома». Примечание от издателя гласит следующее: «Автор, к сожалению, не оставил после себя никаких отметок, по которым можно было исправить ошибки, вкравшиеся при первом издании сей повести». Автограф, с незначительными разночтениями против текста МТ, — ГПБ, ф. 69, № 6, лл. 1—4, с подписью: А. Б., датирован. Печ. по автографу. Поводом для написания «Нескольких слов...» явилось появление в свет без ведома Б. 2-й главы «Андрея Переяславского» в качестве приложения к № 42 журнала «Галатея» за 1830 г. «Охотно, но неожиданно пишу к вам, почтеннейший Николай Алексеевич, — писал Б. из Дербента 12 февраля 1831 г. редактору «Московского телеграфа» Н. А. Полевому. — Тому виной 2-я глава «Андрея Переяславского», напечатанная без воли моей. В прилагаемом оправдании прочтете искреннее мое признание, каким образом я написал ее; но кто ее печатал — до сих пор не только не могу дознаться, но даже догадаться. Если можете, поясните мне дело. Он написан был в1827 году, в Финляндии, где у меня не было ни одной книги; написан был жестяным обломком, на котором я зубами сделал расщеп, и на табачной обвертке, по ночам. Чернилами служил толченый уголь. Можете судить об отделке и вдохновении! Апелляцию мою напечатайте поскорее, и не в счет абонемента — это мое, не ваше дело» (РВ, 1861, № 3, стр. 293). История создания и появления в свет «Андрея Переяславского», рассказанная в «апелляции» Б., может быть уточнена и дополнена на основе дошедших до нас свидетельств и документальных данных. После приговора Верховного уголовного суда Б., вместе с некоторыми другими декабристами, 17 августа 1826 г. был направлен в Роченсальм (Финляндия) и заключен в крепость «Форт Слава». Здесь он пробыл до октября 1827 г., после чего был отправлен в ссылку в Якутск. Декабрист И. Д. Якушкин, который находился в крепости вместе с Б., сообщает в своих записках: «Бестужев в это время пытался писать на клочках бумаги повесть в стихах из времен, весьма древних, русской истории — «Андрей Переяславский». Археологические его познания были не обширны, стих его был вял, и повесть вообще не удалась. За критику его скороспелого произведения он не сердился, но, впрочем, защищал его усердно...» (Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. М. 1951, стр. 91). Отправляясь в сибирскую ссылку, Б. передал черновик двух глав «знакомой даме», через которую повесть стала, видимо, известна и другим лицам. В 1828 г. вышло из печати отдельное издание 1-й главы без имени автора и издателя, но с ложным заявлением: «Все пропуски в сем сочинении сделаны самим автором». Издателем книжки был, вероятно, чиновник следственной комиссии по делу декабристов, причастный также и к литературе, А. А. Ивановский (см. «Русская старина», 1888, № 10, стр. 153). Интересно, что еще до выхода книжки из печати на страницах «Московского вестника» (1828, № 2, стр. 396), в от-

деле «Литературных новостей», появилось объявление: «Нам обещают скоро национальную поэму неизвестного автора «Андрей Переяславский». В ней много мест живописных, красот истинно поэтических, иногда обнаруживающих перо зрелое. Просим заранее читателей смотреть на нее без предубеждения, к которому, вероятно, приучили их наши неутомимые эпики». О выходе 1-й главы своей повести Б. узнал из газет довольно скоро. 10 июня 1828 г. он с возмущением писал об этом матери из Якутска: «Я, право, не знаю, в каком веке мы живем? Печатать вещь, полную исторических и всяких ошибок, недоконченную, неполную, во многих местах без связи, одним словом, материал чего-то, а не сочинение — значит смеяться над сочинителем и обманывать публику» (ПД, 2, стр. 205). Экземпляр вышедшей книжки Б. получил почти через год (ср. об этом в письме к матери от 25 апреля 1829 г. — РВ, 1870, № 5, стр. 258), а тем временем 1-я глава «Андрея Переяславского» была обсуждена в журналах. «Надобно признаться, что издание одной главы сей поэмы вредит ее общности», — сказано было в «Московском телеграфе». Рецензия была написана самим Н. А. Полевым; это ясно из письма к нему Б. от 12 февраля 1831 г. (см. ниже, стр. 275). «Может быть, — писал Полевой, — впоследствии поэт оправдается во всем; но теперь мы видим что-то начатое и начатое не в большом порядке. Несообразностей довольно. Если половцы не играют какой-нибудь роли впоследствии, то их явление и встреча с Романом совсем лишние. Заговор открывается слишком театрально, в беседе боярина, и притом *с его стремянным*. Все явления перемешиваются с большой натяжкою: надобно было боярину ехать по Дунаю, чтобы высказать нам заговор и встретить своего сына с Романом; надобно было сыну тонуть, чтобы Роман мог спасти его, и через то успел познакомиться с боярином-заговорщиком; Роман должен после битвы с половцами ехать непременно по дунайскому берегу, чтобы спасти Световида: все это довольно несвязно, если подумаем притом о буре, которая явилась только для составления завязки. Впрочем, может быть, последующие песни оправдают план поэмы». Полевой останавливался также на «несообразностях» исторических. Он утверждал, что, «кроме костюмов, имен и русских поговорок (которые взяты, впрочем, без всякого соображения к веку действия поэмы), мысли, разговоры и поступки героев поэмы почти все анахронизмы. Половец, выехавший на разбой (в зеленых *туфлях!*), говорит товарищу, как Мооров разбойник у Шиллера; другой отвечает ему, что он «сменял раздольную жизнь на душность могильную городов»; далее, половец, при воспоминании о жене и детях, «плачет растроганный»; русский воин идет задумавшись на древнее кладбище, размышляет о забвении, мечтает над черепом и развалинами, говорит о бессмертии славы; русский гуслист поет песенку вроде французского рыцарского романса и проч., и проч. Но, несмотря на все сии недостатки, — заключал критик, — мы замечаем во многих местах поэмы блестящие, яркие стихи; живые описания поражают читателя, и вообще, если бы не являлось излишнее желание поэта выискивать новые слова и щеголять странностью выражений, *то по отделке стихотворной* «Андрея Переяславского» можно бы причислить к отличным новейшим произведениям русской поэзии» (МТ, 1828, № 5, стр. 83—88). Б., имевший возможность ознакомиться с критикой «Московского телеграфа», был ею весьма недоволен. «Я читал в «Телеграфе» критику

на «Князя Переяславского» — она стоит Полевого, — сообщал Б. из Якутска 25 июня 1828 г. матери. — В ней столько же логики, как и вкуса; он ценит лошадь по седлу и, не понимая ни чувства, ни мысли, занимается бирюльками, т. е. отделкою стихов. Впрочем, замечание о плане справедливо. Но можно ли судить о плане по виньеткам, сшитым белыми нитками? Притом есть разные средства достигать цели. Есть пьесы, где главное состоит в ходе действия, есть другие, которые требуют только убеждения в мысли, которую автор хочет доказать, — таковы пьесы Шекспира...» (ПД, 2, стр. 208). Неприемлемы для Б. были также упреки «Московского телеграфа» по поводу некоторых анахронизмов в его повести. В цитированном выше письме к Н. А. Полевому от 12 февраля 1831 г., вспомнив рецензию «Московского телеграфа» на «Андрея Переяславского», Б. замечал: «Изучение одежд и оружий всех народов было моей любимою главою, и потому позвольте вам сказать, что вы напрасно дивились, что мои половцы в «Андрее Переяславском» выехали на разбой в туфлях; обувь черкес и доселе не что иное, как туфли, и даже турецкие всадники, когда намереваются действовать пешком, то выезжают в туфлях...» (РВ, 1861, № 3, стр. 295). Первая глава «Андрея Переяславского», будучи издана анонимно, заставила гадать об авторе повести. Быть может, иные догадывались или знали, что автором был ссыльный декабрист Б. Отсюда — особенная осторожность в оценке повести, отсюда, возможно, и то, что все критики, начиная с Полевого, обходили ее идейное содержание. «Об авторе этой повести в Москве ходят разные слухи, — писал критик «Московского вестника». — Мы, по нашему обыкновению, будем смотреть на произведение, а не на лицо. Из первой главы, конечно, нельзя еще заключить ни о плане целого, ни о характерах действующих лиц, тем более что в ней не видим еще самого героя поэмы; однако и в первой главе ясно обличается неопытный стихотворец, не без дарования, но не имеющий довольно силы, чтобы овладеть своим предметом, неискусный в приемах рассказа, излишне говорливый и часто безотчетный». Отметив «нестройность содержания» и много «несообразностей», критик «Московского вестника» приводил примеры неудачных и темных стихов, но выделял также и некоторые «весьма удачные», «новые и смелые выражения». В поэме «иногда приметен пиитический талант, но чаще отсутствует связь логическая» — таково было общее заключение критика («Московский вестник», 1828, № 11, стр. 298—304). В «Обзоре российской словесности за 1828 год» О. М. Сомов счел нужным по поводу «Андрея Переяславского» особо подчеркнуть, что «этой повести напечатана только первая глава. Несмотря на некоторую небрежность слога, в сочинителе виден дар поэзии, сила воображения, уменье управляться с стихом и рифмою и знание старинного русского быта. По первой главе нельзя судить о целом сочинении: в ней поэт не успел еще развернуть ни характеров, ни происшествий; и, может быть, то, что кажется критикам неясным и несообразным в отрывке, покажется им ясно и естественно в повести, когда она выйдет вполне. Трудно предупреждать догадками намерения автора; иногда, назло догадливости своих критиков, он обдумывает свой предмет совсем иначе и смотрит на него совершенно с другой точки, нежели та, которую они предполагали. Живость и верность описаний в 1-й главе «Андрея Переяславского» с избытком искупают легкие и немногие недостатки

оной, как-то: смелость некоторых выражений, местами говорливость поэта и т. п.» («Северные цветы на 1829 год». СПб., 1828, стр. 46—47). Сам Б. расценил этот отзыв Сомова лишь как вежливость (не исключено, что Сомову было известно имя автора поэмы): «*Цветы* меня ободряют, но это не более как комплименты, и я знаю, во сколько сребренников ценить общие похвалы, как и общие побранки», писал Б. матери (РВ, 1870, № 5, стр. 258). В то время как 1-я глаза «Андрея Переяславского» обсуждалась в критике, Б., находясь в Якутске на поселении, не раз возвращался мыслью к своей незаконченной повести, а возможно, и пытался ее продолжать. «Бросив или отложив «Андрея», мне хочется попробовать себя в легком роде, именно в таком, как писан «Дон-Жуан», — сообщил Б. братьям 16 августа 1828 г. (там же, стр. 240—241). Более чем полгода спустя, 25 апреля 1829 г., получив печатный экземпляр повести, Б. писал матери: «За «Андрея» благодарю, он уже здесь; жалко и досадно видеть его в таком виде в печати. Не знаю когда, скрепя сердце, снова за него приняться» (там же, стр. 258). Несколько ранее, 10 ноября 1828 г. Б. в письме к сестре признавался: «Очень жалею об издании «Андрея» — это отбивает и впредь всякую охоту писать на ветер. Другие будут пользоваться плодами моих трудов и, может, расхищать меня стих по стиху, строку по строчке, как это, вероятно, случилось со 2-ю песнею «Андрея». Впрочем, это во всем моя участь» (ПД, 2, стр. 213—214). Б. словно предвидел, что и 2-я глава «Андрея», подобно первой, будет опубликована без его ведома. 2-я глава увидела свет через три года после первой, в качестве приложения к 42-му номеру журнала С. Е. Раича «Галатея» на 1830 г. Текст 2-й главы был сопровожден примечанием: «Все исключения сделаны сочинителем». Печатных откликов вторая глава не вызвала, но она явилась поводом для специальной «апелляции» Б., направленной в редакцию «Московского телеграфа». Сопроводив эту «апелляцию» цитированным выше письмом к Н. А. Полевому с просьбой о напечатании «апелляции» в журнале, Б. приложил к письму два неопубликованных отрывка повести. «Если найдете лишний уголок, — писал он Н. А. Полевому, — приклейте два прилагаемые обрывка из «Андрея»; лучше заранее послужить ими доброму человеку, чем видеть их в чужом журнале, как переметчиков» (РВ, 1861, № 3, стр. 293—294). «Два прилагаемые обрывка» — отрывки из 5-й главы повести, которые и были напечатаны в МТ, 1831, №№ 7 и 9, т. е. на год ранее «апелляции», хотя посланы они были одновременно. По каким причинам напечатание «апелляции» так долго задержалось, остается неизвестным. Б. писал Полевому 19 августа 1831 г.: «Желал бы я знать, почему вы не напечатали моего отзыва об «Андрее» — я уверен, что вы имели к тому достаточные причины, но какие?» («Литературный современник», 1934, № 11, стр. 140). Появилась «апелляция» в МТ вместе с другим письмом Б. (Еще несколько слов его же к издателю «Московского телеграфа» — МТ, 1832, № 6, стр. 300—301, подпись: А. М.), в котором он протестовал против опубликования отрывка из 5-й главы своей повести, уже посланного Полевому, в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду"» (1831, № 53) за подписью некоего Петрова из Енисейска. Вскоре же на страницах МТ появился «Ответ» из Харькова И. Петрова «Г-ну Сочинителю Повести «Андрей, князь Переяславский» (МТ, 1832, № 10, камер-

обскура, стр. 216—218). Полностью возлагая вину за напечатание отрывка, да еще с чужой подписью, на издателя «Русского инвалида» А. Ф. Воейкова, Петров уверял Б., что в действительности он принадлежит к числу «усерднейших почитателей... литературных произведений, как прежних, так и нынешних», писателя. В 1832 г., когда в печати стало известно, что создателем «Андрея Переяславского» является Александр Марлинский, имя его было в зените славы. Он был автором «Испытания», «Вечера на Кавказских водах», «Наездов», «Лейтенанта Белозора» и других повестей.

Глава первая (стр. 81). Впервые — отдельное анонимное издание (Андрей, князь Переяславский. Повесть. М., 1828, на шмуцтитуле: «Глава первая», с пометкой: «Все пропуски в сем издании сделаны самим автором»). Вошло в ПСС, без примечаний издателя. Автограф — ИРЛИ, ф 93, оп. 3, № 108, лл. 1 об. — 10 об. Печ. по автографу, с отдельными исправлениями дефектных строк в рукописи по ПСС. Текст издания 1828 г. и ПСС, по свидетельству самого автора, неисправен. Строфа 14 в рукописи, как в первопечатном тексте и в ПСС, отсутствует. Примечания в издании 1828 года: «1. От Червена произошло имя *Червенной России*, которую иностранцы обратили в *Красную*. Сей в нашей истории достопамятный город есть ныне простое селение и называется Чернеев, близ Хелма на юг. См. «Истор. Госуд. Российск. Карам<зина>, ч. 1, стр. 444. 2. *Шестопер* — то же, что и буздыхан или пернат. См. «Москва, или Исторический путеводитель», ч. 2. М., 1827, стр. 215. На толстом конце булавы обыкновенно для украшения изображались посредством резьбы перья. Так как их было шесть, то от сего булава и получила название Шестопера. См. Friedr. v. Adelungs Herberstein. St. Petersburg. 1818, стр. 195. 3. *Ферез или ферезея*. Так называлось спереди застегнутое довольно широкое платье без рукавов, которое носили боярыни и их дочери (то же, что у простых сарафан). См. «Москва или Исторический путеводитель», ч. 1, М., 1827, стр. 267». *Гулит* — вероятно, от слова гул.

Глава вторая (стр. 106). Впервые — в качестве приложения в журнале «Галатея», 1830, № 42, анонимно, под заглавием: «Андрей, князь Переяславский. Повесть. Глава вторая» (М., 1830). Вошло в ПСС. Автограф — ИРЛИ, ф. 93, оп. 3, № 108, лл. 10 об. — 19. Заверенный М. А. Назимовым более поздний список 56 строк — ИРЛИ, ф. 604, № 6/5575, лл. 115а—115б. Печ. по автографу с отдельными исправлениями по упомянутому списку. Текст издания 1830 г., по свидетельству самого автора, неисправен. Варианты в автографе сравнительно с упомянутым списком:

Строфа 22, ст. 27 И почему, о вождь избранный

Строфа 23, ст. 4 И душу, и дел, пробивших цель

ст. 5 Падут владельцы величавы

ст. 16 Вожди бестрепетных славян

ст. 20 Окрест великие народы

ст. 25 Где слава жажды боевой

Строфа 24, ст. 11 Пристрастный оных наблюдатель

ст. 17 Рукоплесканий и проклятий

На последнем (19 об.) листе автографа записано название 3-й, по всей видимости даже не начатой, главы: «Песнь третья. Праздник».

Отрывок из 5-й песни (стр. 133). Впервые — МТ, 1831, № 9, стр. 52—54, без подписи и даты. С изменениями — ПСС, стр. 99—101, дата: 1828. Автограф с датой: 1828 — ИРЛИ, ф. 604, № 8/5577, лл. 1 об. — 3; текст идентичен ПСС. Более ранний автограф, с которого отрывок напечатан в МТ, с датой: 1827 — ГПБ, ф 69, № 3, лл. 2—3. Печ. по автографу ИРЛИ. Разночтения в автографе ГПБ:

Заглавие: Отрывок из 5-й главы повести...

ст. 11 Подобно парусам ладей

ст. 19 У тех лицо пылает боем

ст. 22 Крыло мечтанья в пламя сеч

ст. 31 Бойницы близки — он на воле

ст. 33 Князь ноет тяжкою тоской

ст. 37 Тела в пыли, тела в крови

ст. 50 Мерцает пеной белоснежной

Поскольку и другие даты в рукописи ИРЛИ (ф. 604, № 8/5577), представляющей собой поздние записи Б. при подготовке им собрания сочинений, не могут быть верными (см. ниже примечания к стихотворениям «Шебутуй» и «Осень»), отрывок, как и всю поэму, вероятнее датировать 1827-м г.

Дума Святослава (стр. 135). Впервые — МТ, 1831, № 7, стр. 332—333; вместо подписи: *, дата: 1827. ПСС, стр. 102—103 — с изменениями, дата: 1827. Автограф с датой: 1828 — ИРЛИ, ф. 604, № 8/5577, лл. 3—4; текст с некоторыми отличиями от ПСС. Более ранний автограф, с которого отрывок напечатан в МТ, с датой: 1827 — ГПБ, ф. 69, № 3, лл. 3—4. Печ. по автографу ИРЛИ, с исправлением явных описок в ст. 24 («Вдыхать трубы победы звоны») по автографу ГПБ и в ст. 38 («Вторгая кедры вековые»). Разночтения в автографе ГПБ: заглавие — Дума Святослава (брата Всеволода Ольговича, великого князя). Из 5-й главы повести...

ст. 5 И верю я, у славы сына

ст. 15 Мой бранный дух, раздолья жадный

ст. 25 Клик боя вторить, павших стоны

ст. 26 И смелым пирную хвалу

ст. 27 То, скуча в тихий парус веять

Об основаниях датировки см. предыдущее примечание.

Имениннику (стр. 137). Впервые — «Сборник историко-статистических сведений о Сибири и сопредельных ей странах», т. 2, вып. 1. СПб., 1875, стр. 41—42, по копии, снятой штабс-капитаном Степановым с автографа, принадлежавшего Губареву. Последние 12 строк, исключенные в названном сборнике как «невозможные для печати», впервые — изд. 1948 г., стр. 22. Современный список — ИРЛИ, Р 1., оп. 2, № 270, датирован. Стихотворение обращено к управляющему откупом в Якутске Федоту Федотовичу Колесову. «Он служил предметом постоянных насмешек Бестужева», — сказано в редакционном примечании в названном сборнике. Стихотворение сопровождалось припиской Б.: «Я надеюсь, вы извините меня, что я не приду сегодня поздравить вас лично. Причины вам известны. Ваш искренно А. Бестужев».

Саатырь (стр. 139). Впервые — СО, 1831, № 18, стр. 205—211, с подписью: А. Б. Вошло в ПСС.

<Надпись над могилой Михалевых в Якутском монастыре> (стр. 144). Впервые — «Библиографические записки», 1861, № 14, стлб. 418, по сообщению М. И. Муравьева-Апостола. Современный список под заглавием «Надгробие», с пометой о принадлежности А. С. Пушкину — ИРЛИ, Р 1, оп. 2, 270, л. 5. Декабрист М. И. Муравьев-Апостол, рассказывая о своей ссылке в Сибирь и о приезде в Якутск, сообщает: «От нечего делать я вздумал ознакомиться с местностью и зашел в монастырскую ограду, где кладбище прилегало к церкви, и заметил на одной гробнице надпись в несколько строк. Я прочел эту надгробную эпитафию, и стихи мне так понравились, что я тут же их списал. Стихи, написанные, как я впоследствии узнал, А. Бестужевым, помещаю здесь». Далее следовал текст стихотворения, сопровожденный пометой: «Якутск, 1828 года. Скончались Михалевы» (М. И. Муравьев-Апостол. Воспоминания и письма. Пг., 1922, стр. 70).

Череп (стр. 145). Впервые — «Невский альманах на 1830 год», СПб., 1829, стр. 342—344; вместо подписи: *. ПСС, стр. 125—126 — с явными искажениями, без эпиграфа, датировано. Печ. по тексту «Невского альманаха». Варианты текста ПСС:

ст. 6 Над океаном правды зыбкой

ст. 7 Привет ли мне, иль горестный ответ

ст. 15 Венок понятия увял

Посылая стихотворение «Череп» в числе других своих стихотворений Е. И. Булгариной, Б. писал ей 10 июня 1828 г. из Якутска: «. . .„Череп", я думаю, найдет немногих читателей: этот род размышлений требует и в самом чтеце особое расположение к глубокомыслию и особенное просвещение, ибо отвлеченные предметы ловятся не ушами, а душой. К тому же надобен и приученный к романтизму вкус, которого вовсе не замечаю я в русских, потому что Пушкин, бог моды настоящего, весьма мало имеет в себе *идеального*, т. е. романтического» (ПД, 2, стр. 206). Через полгода Б. послал стихотворение «Череп» матери и сестре. «При сем прилагаю два стихотворения *Череп* и *Тост* для продажи в печать», — писал он им 25 февраля 1829 г. из Якутска (там же, стр. 220). И в тот же день Б. писал братьям: «Теперь посылаю к матушке два стихотворения, *Череп* и *Тост*. Первый — метафизика, мистическая шарада, которой я и сам не могу разгадать. Эпиграф его из Гете; другой — сон небывалого счастья» (РВ, 1870, № 5, стр. 251).

Юность (стр. 147). Впервые — СО, 1831, стр. 281, без заглавия, с подзаголовком «Из Гете», с подписью: А. Б. ПСС, стр. 146 — с изменением ст. 2 и подзаголовка, датировано. Печ. по тексту ПСС. Вариант текста СО:

ст. 2 По горам и по долам

Общую оценку переводов Б. из Гете см.: В. М. Жирмунский. Гете в русской литературе. Л., 1937, стр. 127 и 147.

Из Гафиза (стр. 148). Перевод стихотворения Гете «Lass deinen süssen Rubinenmund. . .» (West-Oestlicher Divan. Buch Suleika). Впервые — ПСС, стр. 149, датировано.

Из Гете («Пейте! Самых лет весна. . .») (стр. 149). Перевод стихотворений Гете «Trunken müssen wir alle sein!» «Da wird nicht mehr nachgefragt» (West-Oestlicher Divan. Schenkenbuch). Впервые — ПСС, стр. 143, датировано.

Из Гете («Как часто, милое дитя. . .») (стр. 150). Перевод стихотворения Гете «Nähe». Впервые — ПСС, стр. 144, датировано.

Зюлейка (стр. 151). Перевод стихотворения Гете «Suleika. Nimmer will ich dich verlieren. . .» (West-Oestlicher Divan. Buch Suleika). Впервые — ПСС, стр. 148, датировано.

С персидского (стр. 152). Перевод стихотворения Гете «Bist du von deiner Geliebten getrennt» (West-Oestlicher Divan. Buch Suleika). Впервые — ПСС, стр. 147, датировано.

Ей (стр. 153). Впервые — СО, 1831, № 24, стр. 246, под заглавием «Нине», с подписью: Id. ПСС, стр. 142 — с изменениями, датировано. Печ. по тексту ПСС. Варианты текста СО:

ст. 4 И серебрят и золотят

ст. 7 Так солнце падает беззнойно

ст. 8 На лоно дышащее вод

Всегда и везде (стр. 154). Перевод стихотворения Гете «Immer und Überall». Впервые — СО, 1831, № 22, стр. 116, под заглавием «Каждому свое», с подписью: А. Б. ПСС, стр. 145 — с исправлением опечатки в ст. 2. Датируется предположительно, поскольку переводы Б. из Гете относятся к 1828 г. В письме к Н. А. Полевому из Дербента от 9 июля 1831 г. Б. сообщал: «В „Сыне отечества" по временам печатаются мои стиховные грехи, но от опечаток и в прозе и в виршах житья нет. В одной пиесе, например, в 22 №, вместо: «В небе свит туманов хор», поставлено: «В небе *свист*, туманов хор». Ник. Ив. <Греч>, кажется, верует, что в поэзии не должно быть смыслу, и потому какую бы чепуху ни наврал корректор, он не заглянет в рукопись» (РВ, 1861, № 3, стр. 302). Опечатка, указанная Б., относится к данному стихотворению (ст. 2).

Магнит (стр. 155). Впервые — СО, 1831, № 19, стр. 281, с подзаголовком «Из Гете», с подписью: А. Б. В ПСС не вошло. Датируется предположительно, поскольку цикл переводов из Гете создан был Б. в 1828 г.

Финляндия (стр. 156). Впервые — СО, 1829, № 20, стр. 373—374, с датой: 16 января 1829 г., без подписи. ПСС, стр. 123—124 — с изменениями. Печ. по тексту ПСС. Разночтения в тексте СО:

ст. 15 Вздремала тень в величии угрюмом

ст. 18 Как радуги, летят ключи игривы

25 января 1829 г. Б. писал из Якутска матери и сестре: «*Финляндия* (если гремушки самолюбия не заглушают критики смысла), кажется, имеет некоторое достоинство» (ПД, 2, стр. 218). Упомянул Б. об этом стихотворении и в письме к братьям от того же числа (РВ, 1870, № 5, стр. 250). Первая строка частично повторяет ст. 2 стихотворения Е. А. Баратынского «Финляндия» («Граниты финские, граниты вековые»). Стихотворение посвящено *Закревскому* Арсению Андреевичу, генерал-губернатору Финляндии.

Тост (стр. 158). Впервые — «Невский альманах на 1830 год». СПб, 1829, стр. 287—290, без подписи. ПСС, стр. 157—159, с изменением в ст. 61 и с пропуском ст. 28—31. Сохранилась часть автографа, начиная со ст. 54 (ИРЛИ, ф. 604, № 8/5577, л. 1), датировано. Печ. по тексту «Невского альманаха», с исправлением ст. 61 по автографу. Вариант первопечатного текста:

ст. 61 Даст нам звездные цветы

Об этом стихотворении Б. писал братьям 25 февраля 1829 г. (см. примечание к стихотворению «Череп», стр. 280).

В день именин (стр. 160). Впервые — ПСС, стр. 129—134, с очевидными цензурными сокращениями, с датой: 1828. Сохранился неполный список, начиная со ст. 24, рукой Е. А. Бестужевой, с датой 18 мая 1829 (ГПБ, ф. 69, № 2, л. 33—33 об.). Полный современный список неизвестной рукой, почти полностью совпадающий со списком ГПБ (со ст. 24) — ИРЛИ, Р 1, оп. 2, № 270, лл. 2 об. — 3 об., с датой: 18 мая 1828 г. и заглавием: «На именины Ал. Ив. М-Г-К.». Печ. по списку ИРЛИ, с исправлениями по списку ГПБ. Разночтения в тексте ПСС:

ст. *15* А не лилеями богат

ст. *32—39* *отсутствуют*

ст. *49* Да никакой печали тень

ст. *86* . . . . в

Разночтения в списке ИРЛИ:

ст. *36* Что мы без чувства, без ума

ст. *49* И никогда печали тень

Адресат послания не установлен.

Лиде (стр. 163). Впервые — ПСС, стр. 154—155, датировано.

Разлука (стр. 165). Впервые — ПСС, стр. 150—151, датировано.

Пресыщение (стр. 166). Впервые — ПСС, стр. 165, датировано.

Е. И. Б<улгари>ной (стр. 167). Впервые — ПСС, стр. 133—135, датировано. *Булгарина* Елена Ивановна, жена Ф. В. Булгарина и двоюродная сестра Б., которой он посылал из Якутска стихи (см. ПД, 2, стр. 206—207).

Часы (стр. 169). Впервые — ЛГ, 1830, № 27, без подписи. ПСС, стр. 127—128 — без последних трех строк, датировано. Печ. по тексту ЛГ. *Начертанных пред Валтасаром.* По библейскому рассказу, последнему вавилонскому царю Валтасару во время пира огненные слова на стене возвестили гибель его царства и его самого. *Оркан* — тропический циклон.

Сон (стр. 171). Впервые — ПСС, стр. 160—162, датировано.

К облаку (стр. 173). Впервые — ПСС, стр. 139, под заглавием «Облако», с датой: 1828. Автограф, с датой: 1829. Якутск (ГПБ, ф. 69, № 4, л. 10 об.). Печ. по автографу. Ст. 8 в ПСС: «Ты, прелестью природы».

Дождь (стр. 174). Впервые — СО, 1831, № 24, стр. 246, с подписью: Id. С изменением ст. 10 — ПСС, стр. 140, датировано. Ст. 10 в СО: «Капли пурпуром зажгла».

Оживление (стр. 175). Впервые — СО, 1831, № 22, стр. 115, под заглавием «Обновление», с подписью: А. Б. Вошло в ПСС.

«Еще ко гробу шаг — и, может быть, порой...» (стр. 176). Впервые — в очерке М. П. Головачева о М. И. Муравьеве-Апостоле (М. П. Головачев. Декабристы. М., 1906, стр. 148), только стихи 5—8, как посвященные Б. М. И. Муравьеву-Апостолу. Полностью — в кн.: Декабристы. Под ред. М. П. Головачева. М., 1907, стр. 1, с датой: 1 июля 1829 г. в Витиме. В инициале подписи: «М. А. Бестужев» явная опечатка, так как М. А. Бестужев находился в это время в Читинском остроге. М. И. Муравьев-Апостол после декабря 1827 г. в Сибири с ним не встречался; расставшись в начале 1828 г. с Б., он с ним больше не встретился. Пребывание же Б. в Витиме, по пути из Якутска на Кавказ, подтверждается бумагами М. А. Назимова, там проживавшего (ИРЛИ, ф. 604, № 6/5575, л. 115 об). Возможно, что Назимову и посвящено стихотворение. Написано оно, очевидно, не в июле, а в июне, так как 2 июля Б. уже выехал из Иркутска. М. А. Назимов (1802—1888) — один из организаторов Северного общества декабристов.

Шебутуй (стр. 177). Впервые — МТ, 1831, № 12, стр. 425—426, вместо подписи — *, дата: 1829. Иркутск. ПСС, стр. 120—122 — с изменениями. Автограф (ИРЛИ, ф. 604, № 8/5577, лл. 5—6) с датой: 1829, май. Хотя и написанная рукой автора, дата эта не может быть верной, ибо стихотворение, как это само собой разумеется, написано не в Якутске, где Б. находился в мае 1829 г., а по пути из Якутска на Кавказ — возможно, действительно в Иркутске. Печ. по автографу. Варианты текста МТ:

Подзаголовок: Водопад Саянского хребта

ст. 1 Стенай, реви, поток пустынный,

ст. 2 Неукротимый Шебутуй

ст. 5 В гранитной зыбля колыбели

ст. 6 На лоне тающих громад

ст. 7 Туманы, тучи и метели

ст. 18 Полувоздушных перлов мост

ст. 19 Сгибает радужные своды

ст. 20 Блестя, как райской птицы хвост

ст. 45—48 отсутствуют

<Отрывок> (стр. 179). Печ. впервые. В бумагах Б. сохранились разрозненные черновые наброски, частично относящиеся, повидимому, к одному произведению — возможно, из истории Киевской Руси (ИРЛИ, ф. 604, № 7/5576, лл. 13—14 об.). Печатаемый отрывок — единственный относительно законченный и дающий какое-то представление о неосуществленном замысле Б. Датируется предположительно, исходя из того, что все эти наброски находятся на листах черновой рукописи воспоминания Б. об А. С. Грибоедове (см. следующее примечание). В ст. 18 зачеркнутое слово заменено: «шипучая», но строка не закончена.

Осень (стр. 180). Впервые — СО, 1831, № 17, стр. 161—163, под заглавием «Каспийское море. Элегия», без подписи, с пометой: Дагестан. Вошло в ПСС. Автограф (ИРЛИ, ф. 604, № 8/5577, лл. 2—5) с датой: 1829, апр. Однако дата эта, хотя и написанная рукой автора, не может быть верной (ср. аналогичный случай со стихотворением «Шебутуй», автограф которого находится вместе с автографом «Осени» и записан одновременно — см. выше примечание к этому стихотворению). Стихотворение «Осень» опубликовано впервые под заглавием «Каспийское море», причем то, что заглавие это дано самим Б., подтверждается его собственноручным перечнем напечатанных произведений (ИРЛИ, ф. 604, № 12/5581, л. 168). Помета «Дагестан» характерна для печатавшихся в журналах произведений Б. кавказских лет. Пейзаж и детали обстановки, запечатленные в стихотворении, никак не соответствуют Якутску и, наоборот, совершенно соответствуют Дагестану. Наконец, набросок одной из строф стихотворения находится на листах черновой рукописи статьи Б. «Знакомство с Грибоедовым» (ИРЛИ, ф. 604, № 7/5576). Хотя М. К. Азадовский считал, что Б. начал писать свои заметки о Грибоедове еще в Якутске (см. «Воспоминания Бестужевых». М.-Л., 1951, стр. 803), но это — недоразумение. Б. получил известие о гибели Грибоедова в конце мая, перед самым отъездом из Якутска (см. в письме к матери от 25 мая 1829 г. — РВ, 1870, № 5, стр. 261—262); безусловно, сестра Б., Е. А. Бестужева, сообщила М. И. Семевскому дату: 1829, Кавказ, которая была проставлена на копии статьи, сделанной Е. А. Бестужевой и опубликованной в «Отечественных записках». Если же датировать «Осень» апрелем 1829 г., то придется принять, что Б. начал писать воспоминания о Грибоедове еще до получения известия о его гибели. Ошибки в датах «Осени» и «Шебутуя» вполне допустимы — все автографы на лл. 1—6 (ИРЛИ, ф. 604, № 8/5577) — позднейшие; стихи явно переписывались для издания сочинений.

Эпиграммы (стр. 182). Впервые — СО, 1831, № 24, стр. 246, с подписью: А. Б. В ПСС не вошли. Принадлежность Б. подтверждается его перечнем напечатанных произведений (см. предыдущее примечание). Первая эпиграмма направлена, вероятно, на Василия Тимофеевича Плаксина (1796—1869), литературного критика и педагога, в связи с его статьей «Взгляд на состояние русской словесности в последнем периоде (Лекции из истории литературы)» в СО, 1829, №№ 33—35. Разбирая различные определения романтической поэзии, автор приходил к выводу, что все мнения «при всех недостатках более или менее подходят к истине». Вторую эпиграмму предположительно

можно отнести к нашумевшему стихотворению С. П. Шевырева «Мысль», впервые появившемуся в «Московском вестнике», 1828. Ср. начальные строки стихотворения Шевырева:

Падет в наш ум чуть видное зерно
И зреет в нем, питаясь жизни соком;
Но придет час — и вырастет оно
В создании иль подвиге высоком.

Третья эпиграмма является несомненным откликом на стихотворение Пушкина «Собрание насекомых», впервые увидевшее свет в альманахе «Подснежник» на 1830 г. и напечатанное также в ЛГ в 1830 г.

Приписка к богатому надгробию в бедности умершего поэта (стр. 183). Впервые — СО, 1831, № 24, стр. 245, с подписью: А. Б. В ПСС не вошло. В тексте СО в первом слове заглавия, очевидно, спечатка: «Приписки. . .»

Ответ (стр. 184). Впервые — МТ, 1831, № 16, стр. 457—458, с подписью: А. М. В ПСС не вошло. Автограф — ГПБ, в письме к Н. А. Полевому от 13 августа 1831 г. из Дербента (ф. 69, № 17, л. 11 об.) Делясь впечатлениями от только что прочитанного «Бориса Годунова», Б. писал: «В других стихотворцах не вижу ничего хорошего особенно. Гладкие стихи, изредка чужая мысль, и та причесана, завита так, что боже упаси! <Далее следовал текст шестистишия.> Та беда еще, что не выбирают хорошего для подражания. Дались им Уланды, Ламартины, как будто на свете не существует ни Шекспира, ни Шиллера, ни Данте, ни Байрона» (РВ, 1861, № 3, стр. 304—305).

Поэтам Архипелага нелепостей в море пустозвучия (стр. 185). Впервые — МТ, 1832, № 8, стр. 494, с подписью: А. М. В ПСС не вошло. Автограф — ГПБ, в письме к Н. А. Полевому от 1 января 1832 г. из Дербента (ф. 69, № 17, л. 20 об.). «Надо бы подарить сережки и сестрице, нашей поэзии (она же, бедняжка, право, дура бессережная), — писал Б., — да та беда, что для ее испанских титулов, С. Шевырев, С. Кугушев, С. Трилунный, etc, etc, etc, нет у меня места: это совершенно Крысий Архипелаг нелепостей в море пустозвучия. Как читаешь раздирающие жизнь (а нередко и ухо) их стихотворения, так и хочется сказать: <далее следовал текст восьмистишия>. Впрочем, в Шевыреве водятся иногда мысли, в Трилунном — чувства, но это так редко или так ветхо! Прочих поэтов не помню даже имен; они все, кажется, берут напрокат стоптанные туфли Пушкина».

«Я за морем синим, за синею далью. . .» (стр. 186). Впервые — «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду"», 1838, № 12, стр. 230, под заглавием «Мечта», с подписью: А. Марлинский. ПСС, стр. 163 — с изменениями, датировано. Печ. по тексту ПСС. Разночтения в «Литературных прибавлениях. . .»:

ст. 7 Щит мой. Но в грезах ночей
ст. 9 И снова я ожил, и снова я пылок

Забудь, забудь (стр. 187). Впервые — «Пантеон русского и всех европейских театров», 1840, № 5, стр. 40, с подписью: А. Марлинский, датировано. В ПСС не вошло.

Адлерская песня (стр. 188). Впервые — СО, 1838, № 2, стр. 150—153, вместо подписи: ***. В ПСС не вошло. Опубликовано также — РВ, 1870, № 7, стр. 77—78, без заглавия. Копия рукой Е. А. Бестужевой, без заглавия, датировано (ИРЛИ, ф. 604, № 11/5580, л. 181). Песня — как можно думать, выполнение своеобразного служебного поручения — была написана вслед за переводом поэмы М. Ф. Ахундова «На смерть Пушкина», за два дня до высадки русского отряда на мыс Адлер. 7 июня 1837 г., в бою за мыс Адлер, Б. погиб.

II

Из письма к С. В. Савицкой (стр. 191). Впервые — ПД, 1, стр. 15—17. Копия рукой Е. А. Бестужевой — ИРЛИ, ф. 604, № 11/5580, лл. 3—4. Датируется, исходя из пометки Е. А. Бестужевой на копии. *Савицкая* Софья Васильевна — соседка Б. по имению (в Новоладожском уезде Петербургской губ., на берегу Волхова). М. А. Бестужев в своих мемуарных заметках упоминает о «знакомстве брата Александра с домом Савицких» и об его «сердечном участии» в этом знакомстве («Воспоминания Бестужевых». М.—Л., 1951, стр. 269). *Моина* — героиня трагедии В. А. Озерова «Фингал». *Жанлис* Стефани Фелиситэ (1746—1830) — французская писательница.

Из письма к С. В. Савицкой (стр. 194). Впервые — ПД, 1, стр. 19. Копия рукой Е. А. Бестужевой — ИРЛИ, ф. 604, № 11/5580, лл. 4—5. Датировано.

Из «Поездки в Ревель» (стр. 195). Впервые — С, 1821, № 2, стр. 133—134, 135, 136—137, 147, 149—150, 155, 161—162, 172, 174. Датировано в тексте. *Дюпати* Шарль-Маргерит-Жан (1746—1788) — французский писатель и юрист, автор «Писем об Италии». *Геснер* Соломон (1730—1788) — швейцарский поэт и художник, автор «Идиллий» в прозе. *Парни* Эварист-Дезире де Форж (1753—1814) — французский поэт, известный своими анакреонтическими стихотворениями. *Стерн* Лоренс (1713—1768) — выдающийся английский писатель, один из основателей сентиментальной школы.

Из «Дорожных записок на возвратном пути из Ревеля» (стр. 202). Впервые — «Невский зритель», 1821, № 4, стр. 20—23. Датировано в тексте. *Армида* — героиня поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим».

Из «Листка из дневника гвардейского офицера». (стр. 205). Впервые — С, 1823, № 6, стр. 259—264. Датировано в тексте. *Пейпус* — Чудское озеро.

Из повести «Замок Венден» (стр. 208). Впервые — «Библиотека для чтения, составленная из повестей, анекдотов и других произведений изящной словесности», кн. 9. СПб., 1823, стр. 11—12. Датировано в тексте.

Эпиграфы из повести «Ревельский турнир» (стр. 210). Впервые — «Полярная звезда на 1825 год». СПб., 1825, стр. 47, 58, 77. Во 2-м издании «Русских повестей и рассказов», ч. 4 (СПб., 1835, стр. 159) ст. 2 эпиграфа к главе 5 — с изменением, вошедшим во все последующие издания («Пред неподвижным строем»). Там же под этим эпиграфом помета: А. Од. Таким образом, возможно, что это строки из не дошедшего до нас стихотворения А. И. Одоевского. Однако во «Втором полном собрании сочинений» (1847) помета снята. Печ. по тексту «Полярной звезды».

Из письма к братьям (стр. 211). Перевод первых строк монолога Фауста («Фауст» Гете, ч. 1, сц. 2). Впервые — РВ, 1861, № 3, стр. 302 Автографы — ИРЛИ, ф. 604, № 11/5580, л. 62 об.; ГПБ, ф. 69, № 17, л. 10. Первоначально было включено Б. в его письмо к братьям Николаю и Михаилу из Якутска от 9 декабря 1828 г. Через два с половиной года в письмо к Н. А. Полевому из Дербента от 9 июня 1831 г. Б. включил то же четверостишие.

Из повести «Испытание» (стр. 212). Впервые — СО, 1830. № 32, стр. 311—312; № 30, стр. 181, 197; № 31, стр 254; № 32, стр. 322. Автографы — ГПБ, ф. 69, № 8, лл. 42—42 об., 14 об., 22, 34 об , 46 об. Повесть датирована: 1830. Романс «Скажите мне, зачем пылают розы...» написан под очевидным влиянием стихотворения Пушкина «Певец».

Из повести «Наезды» (стр 214). Впервые — СО, 1831, № 14, стр. 386—387; № 7, стр. 377; № 8, стр. 3; № 10, стр. 129; № 11, стр. 193; № 13, стр. 381; № 14 стр. 385; № 15, стр. 3; № 16, стр. 65. Автографы — ИРЛИ, ф. 93, оп. 2, № 16, лл. 3, 10 об., 22 об., 28 об., 34, 38 об., 43 об., 48 об. Печ. по автографам. Варианты текста СО и всех последующих изданий:

ст. 3 эпиграфа к главе 8-й

Ужель предвестницей разлуки

ст. 4 эпиграфа к главе 9-й

И что-то шепчет тишина

Оба этих эпиграфа по своему характеру похожи на отрывки из каких-то более крупных произведений — однако о таких произведениях Б., хотя бы набросках их, данных нет. Повесть «Наезды» датирована 1830 г., но эпиграфы могли быть написаны раньше.

Эпиграф к «Вечеру на кавказских водах» (стр. 217). Впервые — СО, 1830, № 37, стр. 193.

Эпиграф к рассказу «Страшное гаданье» (стр. 218). Впервые — МТ, 1831, № 5, стр. 36. Автограф — ГПБ, ф. 69, № 5, л. 1 Рассказ датирован: 1830.

Эпиграф из повести «Лейтенант Белозор» (стр. 219). Впервые — СО, 1831, № 37, стр. 257. Беловой автограф — ИРЛИ, ф. 9, оп. 2, № 14, л. 31 об. Шестистишие по своему характеру похоже на отрывок из какого-то более крупного произведения; кроме того, как известно, Б. не был ни в Англии, ни в Италии. Поэтому принадлежность этого эпиграфа Б. вызывает некоторое сомнение.

Из письма к братьям (стр. 220). Впервые — «Отечественные записки», 1860. № 7, стр. 45. Включено было Б. в его письмо к братьям Николаю и Михаилу от 24 декабря 1831 г. из Дербента. Автограф — ИРЛИ, ф. 604, № 11/5580, л. 119.

Из повести «Аммалат-бек» (стр. 221). Старинная кабардинская песня и «Смертные песни» впервые — МТ, 1832, № 2, стр. 187—188 и 199—200. Автографы — ГПБ, ф. 69, № 7, лл. 27 об. — 28, 32—33, 34. Черновой автограф «Смертных песен» — ГПБ, ф. 69, № 2, лл. 32—32 об. Эпиграф к главе 3-й печ. впервые по первоначальной редакции части повести — ИРЛИ, ф. 93, оп. 2, № 12, л. 28. Повесть датирована: 1831. Судя по черновым автографам, стихи были созданы одновременно с повестью. Старинная кабардинская песня написана Б. под очевидным влиянием стихотворения А. С. Грибоедова «Дележ добычи» («Хищники на Чегеме»).

Эпиграф к очерку «Красное покрывало» (стр. 227). Впервые — «Тифлисские ведомости», 1831, № 6, стр. 41, с опечаткой в ст. 1. Печ. по тексту «Русских повестей и рассказов», ч. 2. Изд. 2, СПб., 1835, стр. 185. Очерк датирован: 1831.

Из рассказа «Латник» (стр. 228). Впервые — СО, 1832, № 2, стр. 81. Рассказ датирован: 1831.

Из письма к К. А. Полевому (стр. 229). Впервые — РВ, 1861, № 4, стр 429. Автограф — ГПБ, ф. 69, № 15, л. 12 об. Письмо К. А. Полевому от 26 января 1833 г. из Дербента.

Эпиграф к отрывку «Он был убит» (стр. 230). Впервые — «Библиотека для чтения», 1835, № 9, стр. 35, с подписью: А. Б. Автограф — ГПБ, ф. 69, № 10, л. 1. Это, очевидно, отрывок из неизвестного нам, более раннего стихотворения Б.

Из повести «Мулла-Нур» (стр. 231). Переводы с азербайджанского. Впервые — «Библиотека для чтения», 1836, № 7, стр. 25, 64.

АГИТАЦИОННЫЕ ПЕСНИ А. А. БЕСТУЖЕВА и К. Ф. РЫЛЕЕВА

Впервые неполные и неточные тексты трех песен Рылеева и Б. появились в нелегальной печати в 1859 г., в 5-й книге «Полярной звезды» А. И. Герцена. Появлению их в печати предшествовала широкая популярность в среде студенческой молодежи и участников революционных кружков. Распространение этих песен властями же-

сто о преследовалось. Создание их относится к 1823—1825 гг., к тому периоду, когда в тайном обществе декабристов усиливаются подлинно революционные настроения. В своих показаниях Следственной комиссии Б. показал по поводу чрезвычайно интересовавших комиссию «возмутительных» стихов: «Сначала мы было имели намерение распустить их в народе, но после одумались. Мы более всего боялись народной революции, ибо оная не может быть не кровопролитна и не долговременна; а подобные песни могли бы оную приблизить. Вследствие сего, дурачась, мы их певали только между собою... В народ и между солдатами никогда их не пускали...» («Восстание декабристов». Материалы, т. 1. М., 1926, стр. 458). При всей справедливости слов Б. о боязни со стороны декабристов (даже наиболее левого крыла) народной революции, очевидна сознательная попытка Б. умалить перед следователями свою и Рылеева вину; показание Б. опровергается воспоминаниями такого точного и вдумчивого мемуариста, как брат Б., Н. А. Бестужев: «...его <Рылеева> другие сочинения, писанные для ходу в рукописи, слишком явны... (особенно песни, составленные им с Александром Бестужевым на голос народных подблюдных припевов), но намерение, с которым они писаны, и влияние, ими произведенное в короткое время, слишком значительны... они были сделаны в простонародном духе, были слишком близки к его состоянию, чтобы можно было вытеснить их из памяти простолюдинов, которые видели в них верное изображение своего настоящего положения и возможность улучшения в будущем... В самый тот день, когда исполнена была над нами сентенция и нас, морских офицеров, возили для того в Кронштадт, бывший с нами унтер-офицер морской артиллерии сказывал нам наизусть все запрещенные стихи и песни Рылеева, прибавив, что у них нет канонира, который, умея грамоте, не имел бы переписанных этого рода сочинений и особенно песен Рылеева». («Воспоминания Бестужевых». М. — Л., 1951, стр. 27—28). За сто лет, прошедших со дня первой публикации песен, неоднократно печатались их разные варианты; для тех или иных песен отвергалось авторство Рылеева и Б., и, наоборот, им приписывались другие. Наиболее существенными этапами для определения круга несомненно принадлежащих Рылееву и Б. песен и их текстов были: выход в свет в 1934 г. «Полного собрания стихотворений» Рылеева (в «Библиотеке поэта»), публикация в 1950 г. целого цикла «Подблюдные песни» и установление в первом декабристском томе «Литературного наследства» (№ 59, 1954) сводного текста двух самых крупных песен. Наиболее широко политическое и историческое значение агитационных песен охарактеризовано в книге М. В. Нечкиной «Движение декабристов» (т. 2. М., 1955, стр. 96—102). См. также сообщение М. А. Брискмана «Агитационные песни декабристов» (сб. «Декабристы и их время». М.—Л., 1951, стр. 7—22), книгу В. Г. Базанова «Очерки декабристской литературы» (М., 1953, стр. 180—196) и книгу А. Г. Цейтлина «Творчество Рылеева» (М., 1955, стр. 171—207).

«Ах, где те острова...» (стр. 235). Впервые — «Полярная звезда на 1859 год», кн. 5, стр. 9—10, по списку, в котором текст этой песни был сконтаминирован с песней «Ты скажи, говори...» и с пушкинским эпиграфом к «Пиковой даме» («Как в ненастные

дни...»). Печ. по тексту, установленному Ю. Г. Оксманом в результате критического изучения всех дошедших до нас списков (К. Ф. Рылеев. Полное собрание стихотворений. Л., 1934, стр. 309—310, 509—513). В списке, сохранившемся в бумагах Е. С. Ростопчиной, имеется концовка:

К островам, к островам,
Братцы!
Кинем в рожу попам
Святцы!

(См.: сб. «Недра», кн. 6, 1925, стр. 207). Песня эта не столько агитационная, сколько сатирическая, рассчитанная на замкнутую литературную аудиторию. Именно к ней наиболее подходят слова Е. П. Оболенского, сказанные им на следствии: «...каждый куплет имел своего автора, и вообще они были плоды веселых часов досуга членов и не членов Общества, во время свиданий их между собою» («Восстание декабристов», т. 1, стр. 267). Возможно, что Рылееву и Б. принадлежала в этом случае, действительно, только окончательная редакция: анализ песни показывает, что при едином замысле — мечте о сказочной стране, противопоставляемой аракчеевскому Петербургу, — композиция песни лишена цельности, завершенности. Написана песня не позже 1823 г., так как в письме Пушкина к брату от середины января 1824 г. мы встречаем явное упоминание о ней: «А мне bene там, где растет трин-трава, братцы» (см.: А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 10. М.—Л., 1949, стр. 80). Возможно, что отдельные куплеты имели хождение и ранее 1823 г. *Pucelle* — «La Pucelle d'Orléans» («Орлеанская девственница»), антицерковная и эротическая поэма Вольтера, запрещенная в России. *Князь-чудодей* — цесаревич Константин Павлович, командовал войсками на территории Царства Польского, жил в Варшаве. *Танта* — прозвище родственницы Булгарина, жившей у него в доме. *Магницкий* Михаил Леонтьевич (1778—1855) — бывший сотрудник Сперанского, с 1819 г. по 1825 г. один из крайних реакционеров, руководивший «чисткой» Казанского и Петербургского университетов и комиссией по составлению нового цензурного устава. *Мордвинов* Николай Семенович (1754—1845) — один из виднейших представителей дворянской оппозиции Александру I, пользовался репутацией либерала, намечался декабристами в состав временного правительства. *Где не думает Греч, что его будут сечь*. В 1820 г. Греч без всяких к тому оснований был заподозрен в составлении прокламации к солдатам гвардии по поводу волнений в Семеновском полку; в литературных кругах ходили слухи о порке Греча в тайной полиции. *Где Сперанский попов обдает, как клопов, варом* — намек на религиозно-мистические настроения Сперанского в последние годы александровской реакции. *Измайлов* Александр Ефимович (1779—1831) — журналист, поэт и беллетрист, редактор-издатель журнала «Благонамеренный».

«Ты скажи, говори...» (стр 237). Впервые — «Полярная звезда на 1859 год», кн 5, стр. 10, в составе песни «Ах, где те острова...», без шести последних строк. Последние строки впервые — Полное собрание сочинений К. Ф Рылеева, под ред. Н. В. Гербеля.

Лейпциг, 1861, стр. 333. Печ. по тексту, установленному Ю. Г. Оксманом в результате критического изучения всех дошедших до нас списков (К. Ф. Рылеев. Полное собрание стихотворений. Л., 1934, стр. 310, 509—513). В списке, сохранившемся в бумагах Е. С. Ростопчиной (см. сб. Недра», кн. 6, 1925, стр. 208) — текст, существенно отличающийся от всех других:

Говори, говори
И всю правду скажи,
Бабка!

Кто сердит, пусть кричит!
А на воре горит
Шапка!

Говори, говори,
Как в России цари
Правят.

Говори поскорей,
Как в России царей
Давят.

Как капралы Петра
Проводили с двора
Тихо.

Как жена пред полком
Разъезжала верхом
Лихо.

Как курносый злодей
Сел на троне за ней
Вскоре,

И немецкий мундир
Он надел на весь мир
Горе!

Как ни свет ни заря
Для потехи царя
Рьяно,

У Фонтанки-реки
Собирались полки
Piano.

Последние 6 строк представляют собой переделку начала одной из «подблюдных» — «Вдоль Фонтанки-реки. . .». Сохраняя тот же куплетный характер, что и песня «Ах, где те острова. . .», данная песня менее напоминает коллективное творчество; можно допустить, однако, что и в этом случае Рылееву и Б. принадлежали лишь отдельные строфы и

окончательная отделка. В песне идет речь о дворцовых переворотах 1762 и 1801 г. — свержении и убийстве Петра III и убийстве Павла I. Элементы политической агитации уже явственно сказываются в этой песне, которая, несомненно, могла восприниматься как призыв к цареубийству (что, в частности, не позволяет ее датировать раньше 1823 г.). Характерно прямое приноровление ее к современным событиям в списке Ростопчиной. Ю. Г. Оксман считает, что последние строфы в этом списке имеют в виду волнения в Семеновском полку (1820), поскольку казармы этого полка находились «у Фонтанки-реки» (см.: К. Ф. Рылеев. Стихотворения. Статьи. Очерки. Докладные записки. Письма. М., 1956, стр. 380). Возможно также, что это был позднейший намек на события 14-го декабря, — казармы Московского полка выходили воротами на Фонтанку; список же Ростопчиной, безусловно, более позднего происхождения (см.: М. А. Брискман. Агитационные песни декабристов. Дек., стр. 19).

«А х, т о ш н о м н е. . .» (стр. 238). Впервые — «Полярная звезда на 1859 год», кн. 5, стр. 11, в искаженной краткой редакции (7 строф). Более точная, но также неполная редакция (15 строф), по копии с автографа Рылеева в делах Следственной комиссии по делу декабристов — в книге А. К. Бороздина «Из писем и показаний декабристов». СПб., 1906, стр. 195—196. Печ. полный сводный текст, установленный, на основе критического изучения всех дошедших до нас списков, в статье Ю. Г. Оксмана «Агитационная песня „Ах, тошно мне и в родной стороне"». «Литературное наследство», № 59. М., 1954, стр. 85—100. Варианты редакции, печатавшейся обычно до 1954 г.

строфа 7 на месте строфы 4-й

По две шкуры с нас дерут:
Мы посеем, они жнут;
И свобода
У народа
Силой бар задушена.

строфа 8 на месте строфы 7-й

ст 1 Баре с земским судом

строфы 4, 13, 15 отсутствуют

От прочих известных списков особенно отличается запись М. А. Бестужева (ГПБ, арх. Н. К. Шильдера), впервые воспроизведенная полностью в указанной статье Ю. Г. Оксмана (стр. 90, 93):

ПЕСНЯ: АХ, СКУЧНО МНЕ НА ЧУЖОЙ СТОРОНЕ.
Переложенная К. Рылеевым и А. Бестужевым.

Ах. скучно мне
На родимой стороне.
И в неволе, в тяжкой доле,
Видно, век вековать.

Долго ль русский народ
Будет рухлядью господ,
И людями, как свиньями,
Долго ль будут торговать?
Чем мы хуже господ?
У нас тот же нос и рот.
По рассудку и желудку —
Братья мы, и по кресту.
А на деле-то не так.
Нас меняют на собак,
И для фарту, так на карту
Ставят всю семью враздробь.
А уж правды нигде
Не найдет мужик в суде;
Без синюхи судьи глухи,
Без вины ты виноват.
Чтоб в палату дойти,
Прежде сторожу плати
За отвагу, за бумагу —
Ты за всё, про всё плати.
И в деревне солдат,
Хоть и, кажется, наш брат,
В ус не дует и воюет,
Как бы в вражеской земле.
Дважды в лето рекрут
Без войны с нас берут
То налоги, то дороги
Разорили нас вконец.
Чтобы нас наказать,
Господь вздумал ниспослать
Поселенье в разоренье,
Православным на беду.
И заплакал народ,
Но ему зажали рот.
Аракчеев всех затеев
И всему тому виной.
Он царя подстрекнет,
Царь указ подмахнет.
Ему шутка, а нам жутко,
Больно, тяжко — ой, ой, ой!
До царя далеко,
А до бога высоко.
Да мы сами
Ведь с усами,
Так мотай себе на ус.

1824 год

Принадлежность песни Рылееву и Б. доказывается свидетельствами многих декабристов и, в первую очередь, самих ее авторов. В указанной статье Ю. Г. Оксмана сделана попытка выделить строфы, принадлежащие Б. Исследователь пришел к выводу, что Рылееву «принадлежал самый замысел этой песни, ее общий литературный и поли-

тический план, ее наиболее острые и доходчивые формулировки. Но в массовый оборот эта революционная сатирическая песня вошла не в том варианте, создателем которого был Рылеев, а в новой редакции, установленной после принятия Рылеевым поправок и доделок Бестужева» (стр. 97). В частности, приведенный выше текст, записанный М. А. Бестужевым, Ю. Г. Оксман считает редакцией, созданной Б. Хотя песня написана, очевидно, в конце 1823 г., работа над ней продолжалась вплоть до 1825-го (об этом см. также в книге А. Г. Цейтлина «Творчество Рылеева», стр. 176). Песня отчасти является перепевом популярного романса Ю. А. Нелединского-Мелецкого «Ох, скучно мне на чужой стороне...»; по содержанию же, как считают исследователи, песня связана с рукописной революционной прокламацией к войскам гвардии 1820 г., подкинутой в гвардейские казармы после событий в Семеновском полку.

«Царь наш — немец русский...» (стр. 241). Впервые — «Полярная звезда на 1859 год», кн. 5, стр. 12, в сокращенной, искаженной редакции (5 строф). Значительно более полный текст (12 строф), по списку 1820-х годов в архиве Вяземских, обнаружен был только в 1950 г. (см. ЛГ, 1950, № 125 и Дек., стр. 12—13). Еще более полный текст (14 строф) в качестве сводного, основанного на изучении всех дошедших до нас списков, предложен был Ю. Г. Оксманом в 1954 г. («Литературное наследство», № 59, М., стр. 69—84). Печ. по изданию: К. Ф. Рылеев. Стихотворения. Статьи. Очерки. Докладные записки. Письма. М., 1956, стр. 230—231. Варианты различных списков:

ст. 1 Царь наш — немец прусский

ст. 2 Носит мундир прусский

ст. 6 Целый день в манеже

ст. 10 Забирает в когти

ст. 29 А Волконский-баба
Наш Волконский-баба
А другая баба

ст. 33 А Закревский, баба

ст. 34 Управляет в Або

Авторство Рылеева и Б. доказывается свидетельством Н. И. Греча и записью ее вместе с «подблюдными» (список в архиве Вяземских). Определить хотя бы приблизительно степень участия Б. нет возможности. Время создания песни определяется очень точно благодаря строфам о Волконском, Закревском и Потапове. Двое последних были назначены на свои новые посты, упоминаемые в песне, 30 августа 1823 г. Волконский же, хотя и был еще в апреле 1823 г. фактически сменен И. И. Дибичем, но, будучи в отпуску за границей, продолжал числиться в должности начальника Главного штаба, а Дибич считался лишь «исправляющим должность» (до 6 апреля 1824 г.). И хотя

в высших чиновных кругах увольнение Волконского не было тайной уже в 1823 г., в широкой, даже гвардейской офицерской среде об этом не знали еще весной 1824 г., доказательством чего является «Памятная книжка» самого Б. на 1824 год (ИРЛИ, ф. 604, № 24/5724; см. об этом Дек., стр. 15). Этими фактами устанавливается датировка песни. *Або* — главный город Финляндии до середины 1820-х годов.

Подблюдные песни. Отвечая на вопрос Следственной комиссии, Б. показал: «Я не знаю, по научению ли общества сделал сие Рылеев, только однажды в 1822 году, в конце, в забавном расположении духа, пригласил он меня написать что-нибудь народным языком либеральное, и песню «Ах, скучно мне...» написали мы вместе, а некоторые подблюдные я один» («Восстание декабристов», т. 1, стр. 457—458). До 1950 г. из этих «подблюдных» известна была лишь песня «Уж как шел кузнец...» и имелись сведения о существовании песни «Вдоль Фонтанки-реки...», к которой можно было отнести предположительно несколько строк. В 1950 г. в архиве Вяземских (Центральный гос. архив литературы и искусства, ф. 195, № 5612) был обнаружен современный список, заключающий в себе цикл из семи стихотворений под общим заглавием «Подблюдные песни»; в частности, сюда входят также и песни «Вдоль Фонтанки-реки...» и «Как идет кузнец да из кузницы. Слава! ..» (см. ЛГ, 1950, № 125 и Дек., стр. 13—14). Написан цикл, очевидно, в конце декабря 1824 — начале января 1825 гг. Мысль об этой форме агитации могла возникнуть, естественно, в связи с новогодними гаданиями, когда и пелись «подблюдные». С другой стороны, особая резкость и политическая острота входящих в этот цикл песен не позволяют предположить их создание раньше 1824 г.; возможно, конечно, что отдельные песни — может быть, даже и с несколько иным текстом — созданы (или только набросаны) были и до объединения их в цикл. При публикации списка из архива Вяземских были высказаны соображения о том, что это — не случайная запись разрозненных стихотворений, а именно цикл со стройной и обдуманной композицией, исключающей возможность коллективного авторства (хотя отдельные строки, может быть, и видоизменялись, «переходя по рукам», по выражению Б.) — см.: М. А. Брискман. Агитационные песни декабристов. Дек., стр. 20—21. Подавляющее большинство «подблюдных» написано, очевидно, одним Б. (вероятность участия Рылеева в создании двух песен отмечена ниже, в примечаниях к отдельным песням). Авторство Б. подтверждается также тем, что в его рассказе «Страшное гаданье» приводятся те же народные «подблюдные», которые легли в основу нескольких из входящих в комментируемый цикл агитационных песен — см. об этом: В. Г. Базанов. Очерки декабристской литературы. М., 1953, стр. 194—196.

1. «Слава богу на небе, а свободе на всей земле! ..» (стр. 243). Впервые — Дек., стр. 13 и ЛГ, 1950, № 125. Использована записанная Б. народная подблюдная:

Слава богу на небе,
Государю на сей земле!
Чтобы правда была
Краше солнца светла;

Золотая ж казна
Век полным-полна!
Чтобы ко́ням его не изъезживаться,
Его платьям цветным не изнашиваться,
Его верным вельможам не стареться!

Данных об участии в создании песни Рылеева нет.

2. «Как идет мужик из Нова́города́...» (стр. 243). Впервые — Дек., стр. 13 и ЛГ, 1950, № 125. В песне имеются в виду военные поселения. Использована записанная Б. народная подблюдная:

Щука шла из Новагорода,
Хвост несла из Бела-озера;
У щучки головка серебряная,
У щучки спина жемчугом плетена,
А наместо глаз — дорогой алмаз.

Данных об участии в создании песни Рылеева нет.

3. «Вдоль Фонтанки-реки...» (стр 243). Впервые полностью — Дек., стр. 13 и ЛГ, 1950, № 125. Иные тексты — в показаниях М. И. Муравьева-Апостола (см.: «Восстание декабристов», т. 9. М., 1951, стр. 262) и в следственном деле «О злоумышленном тайном обществе» братьев Критских 1827 г. (см.: «Литературное наследство», № 59, М., 1954, стр. 108). Печ. сводный текст, предложенный Л. А. Мандрыкиной на основе изучения дошедших до нас списков в статье «Агитационная песня «Вдоль Фонтанки-реки» и участие А. И. Полежаева в ее распространении» («Литературное наследство», № 59. М., 1954, стр. 115), с некоторыми исправлениями по списку из архива Вяземских. Участие Рылеева в создании этой песни возможно, поскольку, по утверждению М. И. Муравьева-Апостола, он передал ему ее текст; однако сам Рылеев отрицал даже знакомство с этой песней и утверждал, что он передал М. И. Муравьеву-Апостолу не «Вдоль Фонтанки-реки...», а «Я ль буду в роковое время...» В песне имеются в виду волнения в Семеновском полку 1820 г., которые ставятся в пример солдатам петербургской гвардии. Не исключено, что в основе этой песни лежит какой-то более ранний текст. См. также выше, примечание к песне «Ты скажи, говори...»

4. «Сей, Маша, мучицу, пеки пироги...» (стр. 244). Впервые — Дек., стр. 13 и ЛГ, 1950, № 125. Использована народная подблюдная, в которой есть строки:

Ах! ты сей, мати, мучицу, пеки пироги *(ст. 1)*
. . . .
К тебе будут гости, ко мне женихи

Данных об участии в создании песни Рылеева нет.

5. «Уж как на небе две радуги...» (стр. 244). Впервые — Дек., стр. 13 и ЛГ, 1950, № 1265. Использованы варианты народной подблюдной — начинающейся строками:

Уж как на небе две радуги,
У богатого мужика две радости,
И он сына-то женит, дочь замуж выдает

и другой, записанный Б.:

Расцветали в небе две радуги,
У красной девицы две радости,
С милым другом совет,
И растворен подклет!

Данных об участии в создании песни Рылеева нет.

6. «Уж вы вейте веревки на барские головки...» (стр. 244). Впервые — Дек., стр. 13 и ЛГ, 1950, № 125. Данных об участии в создании песни Рылеева нет.

7. «Как идет кузнец да из кузницы. Слава!..» (стр. 245). Впервые — сб. «Русская потаенная литература XIX столетия». Лондон, 1861, стр. 425, с заголовком «Пропущенное стихотворение Рылеева». Иной текст — Дек., стр. 14 и ЛГ, 1950, № 125, по списку из архива Вяземских. Печ. по списку из архива Вяземских (Центральный гос. архив литературы и искусства, ф. 195, № 5612) с исправлениями ст. 1 и 4 по тексту 1861 г. Варианты исправленных стихов в списке из архива Вяземских:

ст. 1 Как идет кузнец из кузницы
ст. 4 А другой-то нож на судей на плутов

Впервые опубликованный текст:

Уж как шел кузнец
Да из кузницы.
Слава!

Нес кузнец
Три ножа.
Слава!

Первый нож
На бояр, на вельмож.
Слава!

Второй нож
На попов, на святош.
Слава!

А молитву сотворя,
Третий нож на царя!
Слава!

Участие Рылеева в создании этой песни вероятно: помимо указания в сб. «Русская потаенная литература XIX столетия», имеется еще свидетельство сына декабриста, Е. И. Якушкина (сб. «XIX век», кн. 1. М., 1872, стр. 354).

«Подгуляла я...» (стр. 246). Впервые — сб. «Русская потаенная литература XIX столетия». Лондон, 1861, стр. 117, с заглавием «Песня К..ой», неполный и неточный текст (возможно, по списку Н. А. Бестужева). Печ. по тексту, извлеченному из показаний М. И. Муравьева-Апостола, хотя и более полному, но, очевидно, также

не воспроизводящему всей песни; судя по передаче М. И. Муравьевым-Апостолом агитационных песен, он был весьма неточен (см. «Восстание декабристов», т. 9, стр. 249—250 и 262). Обоснование авторства Рылеева и Б. см. в сообщении А. Осокина «Об авторе нелегальной песни „Подгуляла я"» («Литературное наследство», № 59. М., 1954, стр. 268—272); участие Б. в создании песни вполне возможно, но ничем специально не подтверждается. В «Воспоминании о Рылееве» Н. А. Бестужева рассказано об увлечении Рылеева «г-жой К.», революционно настроенной молодой полькой, которая впоследствии оказалась шпионкой, подосланной к Рылееву (см. «Воспоминания Бестужевых», стр. 16—21, 629—630, 682). Если песня действительно была посвящена г-же К., то участие Б. едва ли имело место; однако подобную расшифровку заглавия 1861 г. («Песня К. . .ой») и самое это заглавие нельзя считать доказанными. Как отметила М. В. Нечкина, строки о сенаторах отражают «принятый по предложению Пестеля на петербургских совещаниях 1824 г. план издания манифеста к русскому народу от имени Сената» после победы восстания (см.: М. В. Нечкина. Движение декабристов, т. 2. М., 1955, стр. 100). Пестель был в Петербурге весной 1824 г.; поэтому возможно датировать песню 1824 г. — особенно, если считать, что она посвящена г-же К., так как увлечение Рылеева относится также к 1824 г. Если же никакого отношения к г-же К. песня не имеет, то ее следует датировать 1824 или 1825 г.

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПРИПИСЫВАЕМЫЕ А. А. БЕСТУЖЕВУ

Извещение (стр. 249). Перевод стихотворения Э. Парни «Billet». Впервые — «Благонамеренный», 1818, № 3, стр. 291, с подписью: Б. . . . . .в. См. ниже примечание к стихотворению «Беспечный». *Парни* Эварист-Деформ (1753—1814) — французский поэт, автор популярных любовных элегий.

Завтра! (стр. 250). Перевод стихотворения Э. Парни «Demain». Впервые — «Благонамеренный», 1818, № 4, стр. 12, с подписью: Ал. Бе. . . . . в. См. следующее примечание.

Беспечный (стр. 251). Перевод с французского, оригинал не установлен. Впервые — «Благонамеренный», 1818, № 6, стр. 275—277, с подписью: Ал. . .ей Бе—жев. Все три стихотворения приписаны Б. М. П. Алексеевым («Поэты-декабристы», Одесса, 1921, стр. 35). В изд. 1948 г. возможность авторства Б. была отвергнута, поскольку имя в подписи под стихотворением «Беспечный» расшифровывается скорее всего как «Алексей» и поскольку сам Б. в прошении, поданном в Цензурный комитет, назвал стихотворение «Дух бури» своим первым печатным произведением. Однако в подписи под стихотворением «Беспечный» вполне возможна опечатка; что же касается заявления в Цензурный комитет, то в нем Б. лишь ссылался на свою известность публике — понятно, что при этом он мог указать только более крупные переводы.

К сочинителю поэмы «Руслан и Людмила» (стр. 254). Впервые — СО, 1822, № 10, стр. 129—131, с подписью: А. М. Приписано Б. предположительно С. И. Пономаревым в его библиографическом указателе «Пушкин в родной поэзии» (Сборник Отделения русского языка и словесности Акад. наук, т. 44, № 2, 1888, стр. 5) на основании подписи, расшифрованной как: А. Марлинский. В дальнейшем, как принадлежащее Б., было помещено в хрестоматии В. Каллаша «Русские поэты о Пушкине» (М., 1899) и в антологии «Декабристы» (М.—Л., 1951). В сб. «Поэты-декабристы» (Одесса, 1921, стр. 36) и в изд. 1948 г. авторство Б. было отвергнуто на основании якобы несоответствия содержания стихотворения сочувственной оценке Б. пушкинской поэмы в письме Б. сестре от 27 октября 1820 г. (см. ПД, 1, стр. 20). Однако, во-первых, в письме этом сказано лишь, что «за поэму Пушкина «Руслан и Людмила» восстала здесь ужасная чернильная война — глупость на глупости, — но она недурна». Во-вторых, письмо это относится к 1820 г., а стихотворение «К сочинителю поэмы „Руслан и Людмила"» напечатано в 1822 г.; содержание его вполне соответствует настроениям декабристов и примыкавших к ним передовых литераторов; оно полностью отвечает требованиям устава «Союза благоденствия» («изыскать средства изящным искусствам дать надлежащее направление, состоящее не в изнеживании чувств, но в укреплении, благородствовании и возвышении нравственного существа нашего» — см. «Избранные социально-политические и философские произведения декабристов», т. 1. М., 1951, стр. 271). Как известно, декабристские литераторы всё настойчивее призывали Пушкина к разработке героических тем. По языку и стилю комментируемое стихотворение сравнительно близко к таким ранним произведениям Б., как «Подражание первой сатире Буало» и «К некоторым поэтам». Отверг авторство Б. и Б. В. Томашевский, считая автором комментируемого стихотворения А. М. Мансурова, на основании того, что последний печатался в журналах начала 1820 годов (с полной подписью), а в одном из номеров СО за 1822 г. было помещено стихотворение с подписью «А. М. Мценск» (см.: «Ученые записки Ленинградского гос. университета», № 200, серия филологических наук, вып. 25, 1955, стр. 205—206). К этому можно добавить, что одно из стихотворений Мансурова («К поэту-сибариту») по своему настроению сравнительно близко к комментируемому (см.: «Труды Общества любителей российской словесности», ч. 17, 1820). Но по языку и стилю стихотворения Мансурова весьма далеки от известных нам ранних произведений Б., да и идентичность Мансурову автора, скрывшегося под инициалами «А. М.» с пометой «Мценск» ничем не доказывается (в то время как Б. неоднократно употреблял эти инициалы взамен подписи — правда, в эти годы псевдоним «Марлинский» употреблялся им преимущественно для критических выступлений). На некоторое сомнение в принадлежности комментируемого стихотворения Б. наводит строка «коснеющий рано на ложе страданья», если понимать ее не как поэтическую условность. *Смотри, как рыдает бесстрашный Эней.* Имеется в виду эпизод из «Энеиды» Вергилия. На пути из Сицилии в Италию Энею угрожает смертельная опасность во время бури, которую наслала противница троянцев Юнона. Эней сокрушается, почему ему не довелось погибнуть под стенами Трои. *Как древле Филиппа бестрепетный*

сын. Имеется в виду посещение Александром Македонским развалин Трои — места гибели Ахилла, сына Пелея.

<Надпись на «Полярной звезде»> (стр. 256). Впервые — П. В. Быков. Силуэты далекого прошлого. М.—Л., 1930, стр. 31. Как передает Быков, надпись находилась на экземпляре альманаха «Полярная звезда», подаренном Б. отцу Быкова.

ПРИЛОЖЕНИЕ

На смерть Пушкина (стр. 259). Впервые — «Русская старина», 1874, № 9, стр. 76—79, под заглавием «Восточная поэма на смерть А. С. Пушкина». Под тем же заглавием — «Кавказ», 1874, № 137. Перевод «Элегической касыдэ на смерть Пушкина» был осуществлен Б. за несколько дней до его гибели на мысе Адлер. Перевод Б. приобрел значительную популярность в Закавказье и распространялся в списках. См.: М. Рафили. Пушкин и Мирза-Фатали Ахундов. «Временник Пушкинской комиссии», т. 2. М.—Л., 1936, стр. 240—254. Слова: «четыре матери от семи отцов» в тексте первой публикации разъяснены (по-видимому, опубликовавшим перевод А. П. Берже): «т. е. стихии и семь небес». *Ахундов* Мирза-Фатали (1812—1878) — знаменитый азербайджанский писатель, основоположник новой азербайджанской литературы, философ-материалист, просветитель-демократ. *Сабухий* — Сабухи, псевдоним, которым Ахундов подписал свою поэму.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис*. Портрет А. А. Бестужева работы неизвестного художника. Тушь (Всесоюзный музей А. С. Пушкина).

2. *Между стр. 16 и 17*. «Полярная звезда на 1823 год». Обложка.

3. *Между стр. 64 и 65*. Портрет А. А. Бестужева работы Н. А. Бестужева (1823 или 1824). Гуашь (Всесоюзный музей А. С. Пушкина).

4. *Между стр. 144 и 145*. Портрет А. А. Бестужева работы Н. А. Бестужева (по памяти, 1828 ?). Акварель (Всесоюзный музей А. С. Пушкина).

5. *Стр. 224—225*. «Смертные песни». Из повести «Аммалат-бек». Черновой автограф (Гос. Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ[1]

Адлерская песня («Плывет по морю стена кораблей...) 188
Алине («Еще, еще одно лобзанье!..») 75
Андрей, князь Переяславский 77
«Ах, где те острова...» 235
«Ах, если радости земной...» (Из «Поездки в Ревель») 201
«Ах, скучно мне...» См.: «Ах, тошно мне...»
«Ах, тошно мне...» 238

«Бегу от вас, бегу, петропольские стены...» (Подражание первой сатире Буало) 60
Беспечный («Пускай твердят, что нет примера...») 251
«Блажен, кто лестною надеждой ободряем...» (Из письма к братьям) 211
«Близ стана юноша прекрасный...» 51
«Будь, любезная, далеко...» (С персидского) 152
«Бывало, бес, когда захочет...» (Из письма к К. А. Полевому) 229
«Бывало там, когда природа в сне...» (Из «Поездки в Ревель») 196
«Бывало, чуть ранней зарею востока...» (Андрей, князь Переяславский. Глава 2. Охота) 106

В альбом. См.: Е. И. Б<улгари>ной
«В горах Киммерии в чертог его над входом...» (Обитель сна) 69
В день именин («Невольный гость в краю чужбины...») 160
«В любви, добыче и утрате...» (Эпиграфы из повести «Ревельский турнир») 210
«В поле, витязь удалой...» (Из повести «Наезды») 214
«В святой одежде пилигрима...» (Андрей, князь Переяславский. Отрывок из 5-й песни) 133
«В темнице мрачной и глухой...» (Михаил Тверской) 72

---

[1] В алфавитный указатель включены также названия стихотворений из первоначальных редакций и первых публикаций, не принятые в данном сборнике. Стихотворения, извлеченные из писем и прозаических произведений, см. под заглавиями: «Из...» или «Эпиграф к..»

«Вам, семейство милых братий...» (Тост) 158
«Вдоль Фонтанки-реки...» (Подблюдные песни) 243
«Вечерел в венце багряном...» <Отрывок> 179
«Вечно ли тайна магнита...» (Магнит) 155
«Во мгле непробудимой ночи...» (Из повести «Наезды») 216
Водопад Станового хребта. См.: Шебутуй
«Ворота скрипнули за мною...» (Из «Поездки в Ревель») 198
Всегда и везде («Ключ бежит в ущельях гор...») 154
«Вы клятву дали? Эта клятва...» (Из повести «Испытание») 212

«Гюдуль, Гюдуль, добро пожаловать...» (Из повести «Мулла-Нур») 231

«Да, да, в стихах моих знакомых...» (Эпиграммы. 3) 182
«Давно уже строптивые умы...» (Эпиграф к рассказу «Страшное гаданье») 218
«Для нас, от нас, а, право, жаль...» (Из повести «Испытание») 213
«Для чего ты, луч востока» (Из повести «Мулла-Нур») 231
«Довольно я скитался в этом мире...» (Эпиграф из повести «Лейтенант Белозор») 219
«Довольные собою сами...» (Из «Поездки в Ревель») 199
Дождь («Провиденья перст незримый...») 174
Дума Святослава. («С тех пор война, завоеванье...» Андрей, князь Переяславский. Отрывок из 5-й песни) 135
Дух бури («Отважным Гамою ведомы корабли...») 55
«Душа семьи и мать, достойная похвал...» (Из «Поездки в Ревель») 200

Е. И. Б<улгари>ной («Зачем меня в тяжелом сне...») 167
Ей («Когда моей ланитой внемлю...») 153
«Еще, еще одно лобзанье!..» (Алине) 75
«Еще ко гробу шаг — и, может быть, порой...» 176

«Желали вы, — я обещал...» (Из «Поездки в Ревель») 195
«Жребии в лоне таинственном рока...» (Из повести «Наезды») 216

«За слово, за надменный взгляд...» (Из повести «Наезды») 215
Забудь, забудь («Ты улетаешь, ангел света...») 187
Завтра! («Меня ты лаской забавляешь...») 250
«Зачем зарницею без гула...» (Сон) 171
«Зачем меня в тяжелом сне...» (Е. И. Б<улгари>ной) 167
«Зачем от нас могил ужасный клад...» (Эпиграф к «Вечеру на Кавказских водах») 217
Зюлейка («Нет, ты мой, и мой навечно!..») 151

«И дум, и дел земных цари...» (Часы) 169
Из Гафиза («Прильнув к твоим рубиновым устам...») 148
Из Гете («Как часто, милое дитя...») 150
Из Гете («Пейте! Самых лет весна...») 149
Из Гете. См.: Всегда и везде
Из Гете. См.: Зюлейка

Из Гете. См.: Магнит
Из Гете. См.: С персидского («Будь, любезная, далеко...»)
Из «Дорожных записок на возвратном пути из Ревеля» (1—3) 202
Из Лагарпа. См.: Дух бури
Из «Листка из дневника гвардейского офицера» (1—2) 205
Из Парни. См.: Завтра!
Из Парни. См.: Извещение
Из письма к братьям («Блажен, кто лестною надеждой ободряем...») 211
Из письма к братьям («Минувших дней заветный свиток...») 220
Из письма к К. А. Полевому («Бывало, бес, когда захочет...») 229
Из письма к С. В. Савицкой («Как жаль, что веют здесь Бореи, — не Зефиры...») 191
Из письма к С. В. Савицкой («Чтоб с первым вешним ветерком...») 194
Из повести «Аммалат-бек» (1—3) 221
Из повести «Замок Венден» («О, звуки грустные, летите...») 208
Из повести «Испытание» (1—5) 212
Из повести «Мулла-Нур» (1—2) 231
Из повести «Наезды» (1—9) 214
Из «Поездки в Ревель» (1—9) 195
Из рассказа «Латник» («Отрадно плыть во сне туманной Летой...») 228
«Из савана оделся он в ливрею...» (<Эпиграмма на Жуковского>) 74
Извещение («Лишь своею ризой темной...») 249
Имениннику («Я, пробужденный ранним звоном...») 137
«Их вера в колокольном звоне...» (Из повести «Наезды») 215

К К<реницин>у («Тебе ли, муз питомец юный...») 57
К некоторым поэтам («О, вы, сподвижники мои и образцы!..») 66
К облаку («Куда столь быстро и легко...») 173
<К Рылееву> («Он привстал с канапе...») 71
К сочинителю поэмы «Руслан и Людмила» («Скажи мне, отважный питомец Камен...») 254
Каждому свое. См.: Всегда и везде
«Как взор любви или обеты славы...» (Андрей, князь Переяславский. Глава 1. Путь) 81
«Как жаль, что веют здесь Бореи, — не Зефиры...» (Из письма к С. В. Савицкой) 191
«Как идет кузнец да из кузницы. Слава!..» (Подблюдные песни) 245
«Как идет мужик из Новгорода́...» (Подблюдные песни) 243
«Как Нина хорошо скрывает...» (Эпиграммы. 1) 68
«Как часто, милое дитя...» (Из Гете) 150
Каспийское море. См.: Осень
«Клим зернами идей стихи свои назвал...» (Эпиграммы. 2) 182
«Ключ бежит в ущельях гор...» (Всегда и везде) 154
«Когда моей ланитой внемлю...» (Ей) 153
«Кончины памятник безгробной!..» (Череп) 145
«Куда столь быстро и легко...» (К облаку) 173
Кузнец. См.: «Как идет кузнец...»

«Летит как вихорь, как огонь...» (Эпиграфы из повести «Ревельский турнир») 210
Лиде («Приди, о милая, приди...») 163
«Литература наша — сетка...» (Ответ) 184
«Лишенный головы, ни рыба я, ни зверь...» (Шарады. 2) 59
«Лишь своею ризой темной...» (Извещение) 249
«Любви на сердце отраженье...» (Эпиграф к очерку «Красное покрывало») 227
«Люблю я критика Василья...» (Эпиграммы. 1) 182

Магнит («Вечно ли тайна магнита...») 155
«Меня ты лаской забавляешь...» (Завтра!) 250
Мечта. См.: «Я за морем синим, за синею далью...»
«Милы полякам...» (Из повести «Наезды») 214
«Минувших дней заветный свиток...» (Из письма к братьям) 220
Михаил Тверской («В темнице мрачной и глухой...») 72

«На Казбек слетелись тучи...» (<Старинная кабардинская песня>. Из повести «Аммалат-бек») 221
«На радуге воображенья...» (Эпиграфы из повести «Ревельский турнир») 210
Надгробие. См.: <Надпись над могилой Михалевых в Якутском монастыре>
<Надпись на «Полярной звезде»> («Тоска мне душу обуяет...») 256
<Надпись над могилой Михалевых в Якутском монастыре> («Неумолимая, холодная могила...») 144
«Не ветер вздыхает в ущелье горы...» (Саатырь) 139
«Не спас от нищеты полет орлиных крыл...» (Приписка к богатому надгробию в бедности умершего поэта) 183
«Невольный гость в краю чужбины...». (В день именин) 160
«Нет, ты мой, и мой навечно!..» (Зюлейка) 151
«Неумолимая, холодная могила...» (<Надпись над могилой Михалевых в Якутском монастыре>) 144
Нине. См.: Ей
«Но Александр оплотом сил...» (Из «Листка из дневника гвардейского офицера») 206
«Но взор за нею устремя...» (Из «Поездки в Ревель») 197
«Но я, сударь, своим примером и ответом...» (Отрывок из комедии «Оптимист») 64

«О вы, сподвижники мои и образцы!..» (К некоторым поэтам) 66
«О дева, дева...» (Разлука) 165
«О звуки грустные, летите...» (Из повести «Замок Венден») 208
Обитель сна («В горах Киммерии в чертог его над входом...») 69
Облако. См.: К облаку
Обновление. См.: Оживление
«Однажды по ночи глубокой...» (Из повести «Наезды») 215
Оживление («Чуть крылатая весна...») 175
«Он привстал с канапе...» (<К Рылееву>) 71
Оптимист. См.: Отрывок из комедии «Оптимист»
Осень («Пал туман на море синее...») 180

«От праха взят, ты снова станешь прахом...» (Эпиграф к отрывку «Он был убит») 230
«Отважным Гамою ведомы корабли...» (Дух бури) 55
Ответ («Литература наша — сетка...») 184
<Отрывок> («Вечерел в венце багряном...») 179
«Отрадно плыть во сне туманной Летой...» (Из рассказа «Латник») 228
Отрывок из комедии «Оптимист» («Но я, сударь, своим примером и ответом...») 64
Отрывок из 5-й песни поэмы «Андрей, князь Переяславский» («В святой одежде пилигрима ..») 133
Охота. (Андрей, князь Переяславский. Глава 2) 106

«Пал туман на море синее...» (Осень) 180
«Пейте! Самых лет весна...» (Из Гете) 149
Песня К. . .ой. См.: «Подгуляла я...»
«Печальной музы кавалеры! ..» (Поэтам Архипелага нелепостей в море пустозвучия) 185
«Плывет по морю стена кораблей...» (Адлерская песня) 188
«По городу молва несется...» (Эпиграммы. 2) 68
«Под рукою изобилья...» (Из повести «Аммалат-бек») 226
Подблюдные песни (1—7). 243
«Подгуляла я...» 246
Подражание Гете. См.: Из Гете («Как часто, милое дитя...»)
Подражание Гете. См.: Юность
Подражание Овидию. См.: Обитель сна
Подражание первой сатире Буало («Бегу от вас, бегу, петропольские стены...») 60
Поэтам Архипелага нелепостей в море пустозвучия («Печальной музы кавалеры! ..») 185
Пресыщение («Ты пьешь любви коварный мед...») 166
«Приди, о милая, приди...» (Лиде) 163
«Прильнув к твоим рубиновым устам...» (Из Гафиза) 148
Приписка к богатому надгробию в бедности умершего поэта («Не спас от нищеты полет орлиных крыл...») 183
«Провиденья перст незримый...» (Дождь) 174
«Промчатся веки вслед векам...» (Из «Поездки в Ревель») 198
«Пускай твердят, что нет примера...» (Беспечный) 251
Путь. (Андрей, князь Переяславский. Глава 1) 81

Разлука. («О дева, дева...») 165
«Реют ласточки весною...» (Юность) 147

С персидского («Будь, любезная, далеко...») 152
С персидского («Пейте! Самых лет весна...») 149
«С тех пор война, завоеванье...» (Дума Святослава. Андрей, князь Переяславский. Отрывок из 5-й песни) 135
С французского. См.: Беспечный
Саатырь («Не ветер вздыхает в ущелье горы...») 139
«Себе любезного ищу...» 53
«Сей, Маша, мучицу, пеки пироги...» (Подблюдные песни) 244

«Скажи мне, отважный питомец Камен. . .» (К сочинителю поэмы «Руслан и Людмила») 254
«Скажите мне, зачем пылают розы. . .» (Из повести «Испытание») 212
«Слава богу на небе, а свободе на всей земле. . .» (Подблюдные песни) 243
«Слава нам, смерть врагу. . .» (Смертные песни. Из повести «Аммалат-бек») 222
Смертные песни («Слава нам, смерть врагу. . .» Из повести «Аммалат-бек») 222
«Смотри, как буря в лоне туч. . .» (Из «Листка из дневника гвардейского офицера») 205
Сон («Зачем зарницею без гула. . .») 171
<Старинная кабардинская песня> («На Казбек слетелись тучи. . .» Из повести «Аммалат-бек») 221
«Стенай, шуми, поток пустынный. . .» (Шебутуй) 177
«Струи, свергаясь пеленою. . .» (Из «Дорожных записок на возвратном пути из Ревеля») 203

«Так! Я — мечтатель, я — дитя. . .» (Из повести «Испытание») 213
«Там виден зеркалом наяд. . .» (Из «Дорожных записок на возвратном пути из Ревеля») 203
«Там, где гремучая Нарова. . .» (Из «Дорожных записок на возвратном пути из Ревеля») 202
«Там с милым Геснером ночь тихую встречал. . .» (Из «Поездки в Ревель») 196
«Тебе ли, муз питомец юный. . .» (К К<реницын>у) 57
«Тоска мне душу обуяет. . . (<Надпись на «Полярной звезде»>) 256
Тост («Вам, семейство милых братий. . .») 158
«Ты пьешь любви коварный мед. . .» (Пресыщение) 166
«Ты скажи, говори. . .» 237
«Ты улетаешь, ангел света. . .» (Забудь, забудь) 187

«Уж вы вейте веревки на барские головки. . .» (Подблюдные песни) 244
«Уж как на небе две радуги. . .» (Подблюдные песни) 244
«Ужели сердца тайный страх. . .» (Из повести «Наезды») 216

Финляндия («Я видел вас, граниты вековые. . .») 156

«Царь наш, немец прусский. . .» См.: «Царь наш, немец русский. . .»
«Царь наш, немец русский. . .» 241

«Часть первая моя в турецкой стороне. . .» (Шарады. 1) 59
Часы («И дум, и дел земных цари. . .») 169
Череп («Кончины памятник безгробной! . .») 145
«Чтоб с первым вешним ветерком. . .» (Из письма к С. В. Савицкой) 194
«Чуть крылатая весна. . .» (Оживление) 175

Шарады (1—2) 59
Шебутуй («Стенай, шуми, поток пустынный. . .») 177

<Эпиграмма на Жуковского> («Из савана оделся он в ливрею...») 74
Эпиграммы (1—2) 68
Эпиграммы (1—3) 182
Эпиграф из повести «Лейтенант Белозор» («Довольно я скитался в этом мире...») 219
Эпиграф к «Вечеру на Кавказских водах» («Зачем от нас могил ужасный клад...») 217
Эпиграф к отрывку «Он был убит» («От праха взят, ты снова станешь прахом...») 230
Эпиграф к очерку «Красное покрывало» («Любви на сердце отраженье...») 227
Эпиграф к рассказу «Страшное гаданье» («Давно уже строптивые умы...») 218
Эпиграфы из повести «Ревельский турнир». (1—3) 210

Юность («Реют ласточки весною...») 147

«Я был отважно хладнокровен...» (Из повести «Испытание») 213
«Я видел вас, граниты вековые...» (Финляндия) 156
«Я за морем синим, за синею далью...» 186
«Я ль не изведал на веку...» (Из повести «Наезды») 215
«Я — формалист: люблю я очень...» (Из повести «Наезды») 215
«Я, пробужденный ранним звоном...» (Имениннику) 137
Якутская баллада. См. Саатырь

СОДЕРЖАНИЕ[1]

А. А. Бестужев-Марлинский. *Вступительная статья Н. И. Мордовченко* 5

От редактора 46

А. БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ

I

«Близ стана юноша прекрасный...» 51 *267*

«Себе любезного ищу...» 53 *267*

Дух бури *(Из Лагарпа)* 55 *267*

К К<реницын>у 57 *268*

Шарады

1. «Часть первая моя в турецкой стороне...» 59 *268*
2. «Лишенный головы, ни рыба я, ни зверь...» 59 *268*

Подражание первой сатире Буало 60 *268*

Отрывок из комедии «Оптимист» 64 *270*

К некоторым поэтам 66 *270*

Эпиграммы

1. «Как Нина хорошо скрывает...» 68 *270*
2. «По городу молва несется...» 68 *270*

Обитель сна *(Подражание Овидию)* 69 *270*

<К Рылееву> 71 *270*

Михаил Тверской 72 *270*

<Эпиграмма на Жуковского> 74 *271*

Алине 75 *272*

Андрей, князь Переяславский. *Повесть* 77 *272*

   Несколько слов от сочинителя повести «Андрей, князь Переяславский» 77 *272*

   Глава первая. *Путь* 81 *277*

   Глава вторая. *Охота* 106 *277*

   Отрывок из 5-й песни 133 *278*

   Дума Святослава 135 *278*

[1] Первая цифра указывает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечания.

Именинику 137 *279*
Саатырь *(Якутская баллада)* 139 *279*
<Надпись над могилой Михалевых в Якутском монастыре> 144 *279*
Череп 145 *279*
Юность *(Подражание Гете)* 147 *280*
Из Гафиза 148 *280*
Из Гете *(С персидского)* 149 *280*
Из Гете *(Подражание)* 150 *280*
Зюлейка 151 *280*
С персидского 152 *280*
Ей 153 *280*
Всегда и везде *(Из Гете)* 154 *281*
Магнит *(Из Гете)* 155 *281*
Финляндия 156 *281*
Тост 158 *281*
В день именин 160 *282*
Лиде 163 *282*
Разлука 165 *282*
Пресыщение 166 *282*
Е. И. Б<улгари>ной *(В альбом)* 167 *282*
Часы 169 *282*
Сон 171 *282*
К облаку 173 *282*
Дождь 174 *283*
Оживление 175 *283*
«Еще ко гробу шаг — и, может быть, порой. . .» 176 *283*
Шебутуй *(Водопад Станового хребта)* 177 *283*
<Отрывок> 179 *284*
Осень 180 *284*
Эпиграммы
1. «Люблю я критика Василья. . .» 182 *284*
2. «Клим зернами идей стихи свои назвал . .» 182 *284*
3. «Да, да, в стихах моих знакомых! . .» 182 *284*
Приписка к богатому надгробию в бедности умершего поэта. 183 *285*
Ответ 184 *285*
Поэтам Архипелага нелепостей в море пустозвучия 185 *285*
«Я за морем синим, за синей далью. . .» 186 *285*
Забудь, забудь 187 *286*
Адлерская песня 188 *286*

II

Из письма к С. В. Савицкой 191 *286*
Из письма к С. В. Савицкой 194 *286*
Из «Поездки в Ревель» 195 *286*
Из «Дорожных записок на возвратном пути из Ревеля» . . 202 *286*
Из «Листка из дневника гвардейского офицера» 205 *286*
Из повести «Замок Венден» 208 *287*
Эпиграфы из повести «Ревельский турнир» 210 *287*
Из письма к братьям 211 *287*

Из повести «Испытание» 212 *287*
Из повести «Наезды» 214 *287*
Эпиграф к «Вечеру на Кавказских водах в 1824 году» . . 217 *287*
Эпиграф к рассказу «Страшное гаданье» 218 *287*
Эпиграф из повести «Лейтенант Белозор» 219 *288*
Из письма к братьям 220 *288*
Из повести «Аммалат-бек» 221 *288*
Эпиграф к очерку «Красное покрывало» 227 *288*
Из рассказа «Латник» 228 *288*
Из письма к К. А. Полевому 229 *288*
Эпиграф к отрывку «Он был убит» 230 *288*
Из повести «Мулла-Нур» 231 *288*

АГИТАЦИОННЫЕ ПЕСНИ А. А. БЕСТУЖЕВА И К. Ф. РЫЛЕЕВА

«Ах, где те острова...» 235 *289*
«Ты скажи, говори...» 237 *290*
«Ах, тошно мне...» 238 *292*
«Царь наш — немец русский...» 241 *294*

Подблюдные песни:

1. «Слава богу на небе, а свободе на сей земле!..» . . . 243 *295*
2. «Как идет мужик из Новагорода́...» 243 *296*
3. «Вдоль Фонтанки-реки...» 243 *296*
4. «Сей. Маша, мучицу, пеки пироги...» 244 *296*
5. «Уж как на небе две радуги...» 244 *296*
6. «Уж вы вейте веревки на барские головки...» . . . 244 *297*
7. «Как идет кузнец да из кузницы Слава!..» 245 *297*

«Подгуляла я...» 246 *297*

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПРИПИСЫВАЕМЫЕ А. А. БЕСТУЖЕВУ

Извещение *(Из Парни)* 249 *298*
Завтра! *К Лиле (Из Парни)* 250 *298*
Беспечный 251 *298*
К сочинителю поэмы «Руслан и Людмила» 254 *299*
<Надпись на «Полярной звезде»> 256 *300*

ПРИЛОЖЕНИЕ

На смерть Пушкина. *(Перевод поэмы Мирзы Фатали Ахундова)* 259 *300*

Примечания 263

К иллюстрациям 301
Алфавитный указатель стихотворений 302

Бестужев-Марлинский Александр Александрович

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

Редактор *В. С. Киселев*

Художник *И. С. Серов.* Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *В. Г. Комм.* Корректор *М. М. Юдина*

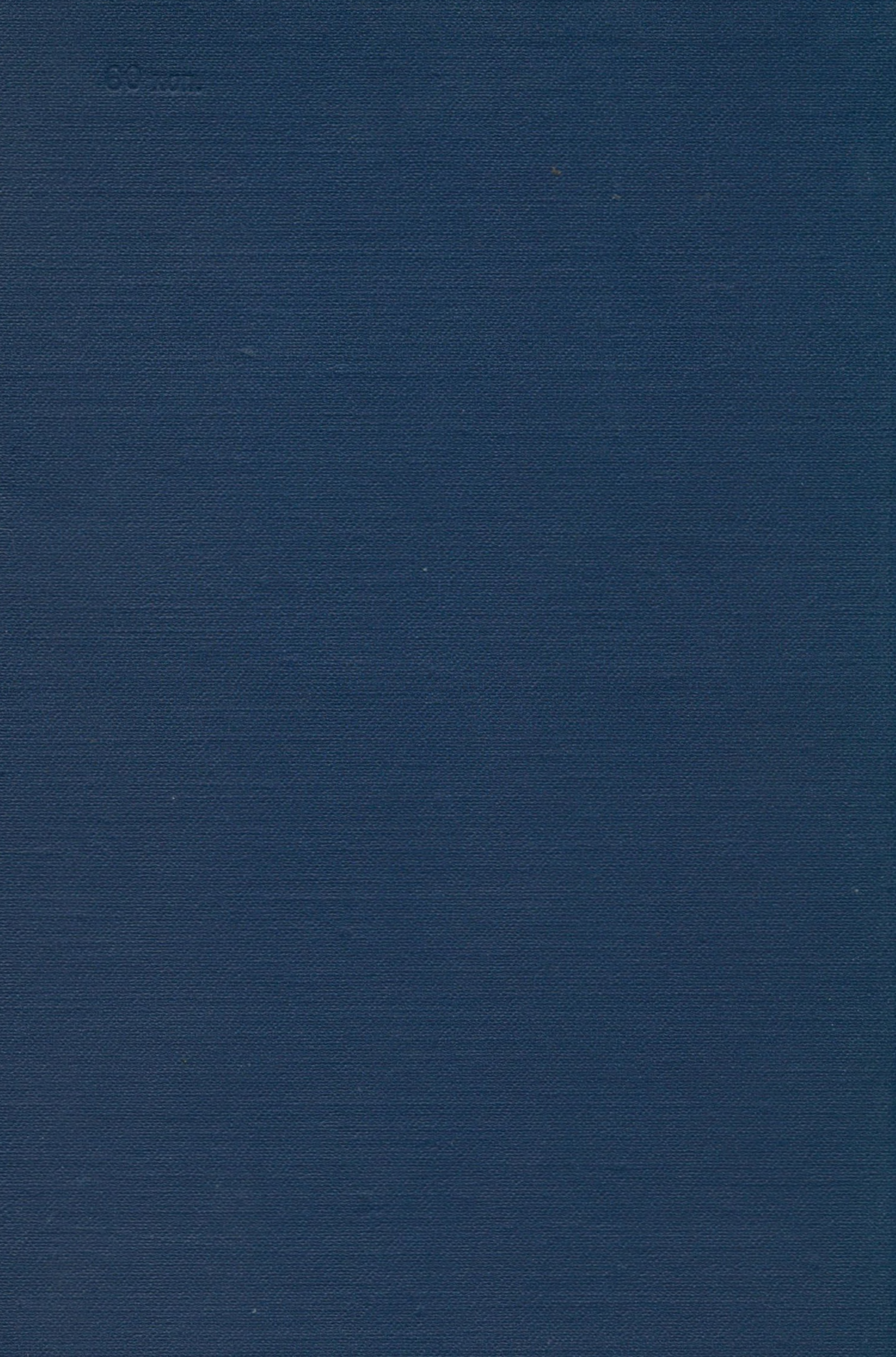
Сдано в набор 29/IV 1959 г. Подписано в печать 16/I 1961 г.
Бумага 84×108¹/₃₂. Печ. л. 10 (16,4). Уч.-изд. л. 13,7
Тираж 10 000. Зак. № 2033. Цена 60 коп.

Ленинградское отделение издательства «Советский писатель»
Ленинград, Невский пр., 28

Отпечатано с матриц во 2-й типографии Военного издательства
Министерства обороны Союза ССР. Ленинград, Д-65, Дворцовая пл., 10

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
46	8—9 сн.	одиннадцать лет	четырнадцать лет
124	5 св.	Но наконец страдалец воль-ный	Но наконец, страдалец воль-ный
186	3 св.	Я тоской о былом ледовитой печалью	Я тоской о былом, ледовитой печалью,
276	6 св	сребренников	сребреников
283	18 св	115 б).	115 об.).


60